



АНАТОЛИЙ МОШКОВСКИЙ

Белые буруны

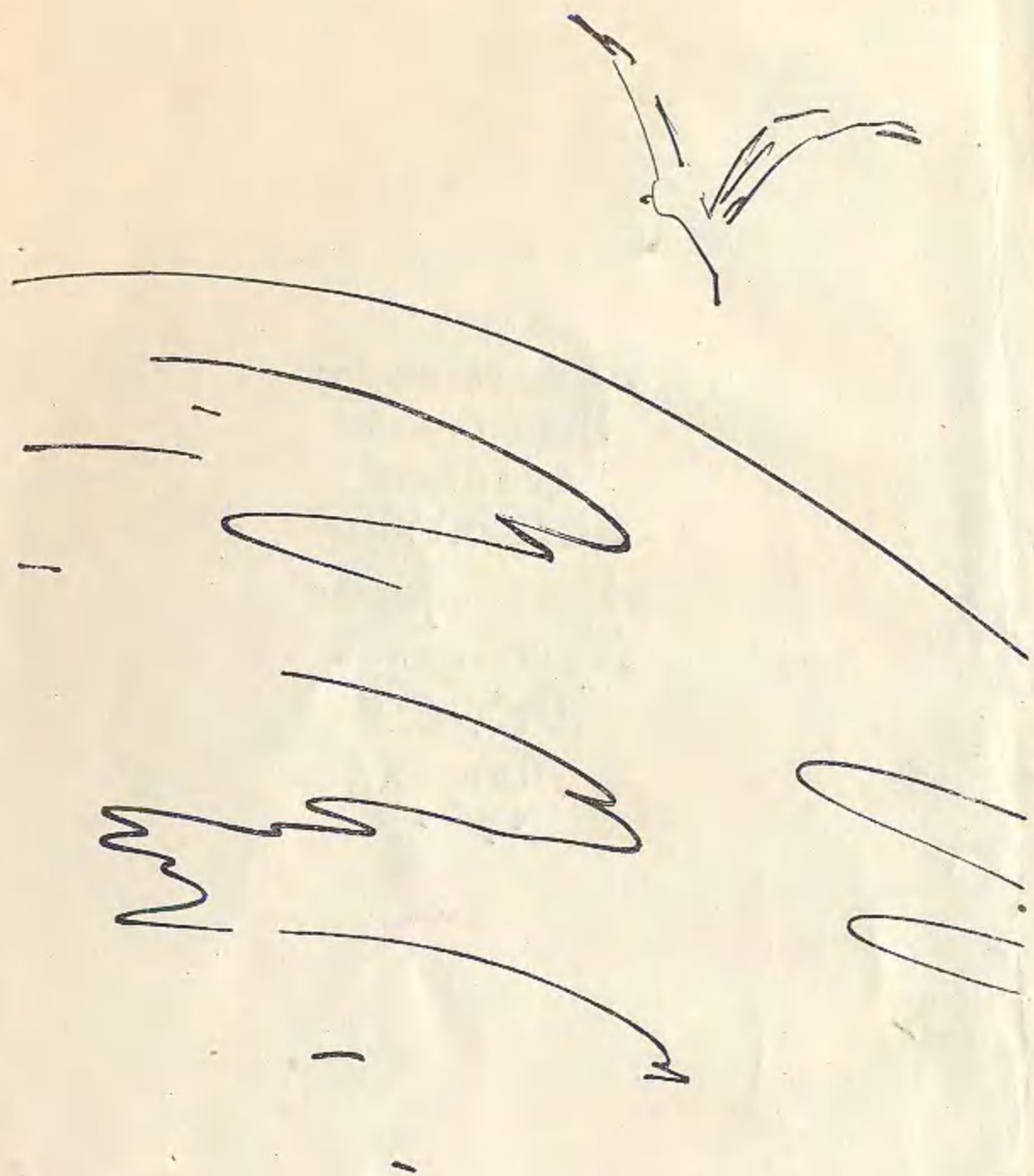
1961

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства
Просвещения
РСФСР
Москва
1961

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

Анатолий Мошковский

Белые буржуны



Р и с у н к и
И. Ильинского и В. Трубковича

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит учителей
и учащихся нерусских школ сообщить
свои отзывы об этой книге по адресу:
Москва, Д-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.



БРАТ

Мы живём в небольшом районном городке... Но вам ведь всё равно, как называется наш городок. Только не обижайтесь на меня, сейчас я всё объясню. На окраине городка находится большой завод, на котором и работает мой старший брат Паша. Стеклённые крыши длинных цехов блестят, как парники в совхозе имени Валерия Чкалова, но под стеклёнными рамами завода выращиваются не огурцы с помидорами, а кое-что другое.

Паша, придя с работы, никогда подробно не рассказывал, как проходят испытания последних марок реактивных истребителей. Как ни клялся я, что никому, ну никому-никому не скажу, Паша улыбался на это, запускал свою ручищу в мои волосы и растопыренными пальцами, как гребешком, зачёсывал их назад и весело приговаривал:

— Вóлосы, братóк, даны́ чело́веку не для того́, что́бы торча́ть в ра́зные сто́роны...

Внача́ле, когда́ я учи́лся в четвёртом клáссе, я обижа́лся на брата́: что́ он мне, не доверя́ет, что́ ли? А вот когда́ перешёл в пýтый — всё по́нял и перестáл дуться.

Так что не обижа́йтесь, пожа́луйста, что́ не скажу́ вам, как назывáется наш городóк, зато́ всё остальное́ расскажу́ точь-в-то́чь как бы́ло. А е́сли не ве́рите — спроси́те у Сёньки Ма́рченко, кото́рый сиди́т через па́рту от меня́ и уме́ет здо́рово шевелить уша́ми. Его́ оте́ц дружи́л с Па́шей, рабо́тал на одно́м заво́де и мо́жет подтверди́ть всё сло́во в сло́во.

Кро́ме ма́мы и Па́ши, у меня́ ещё́ есть мла́дшая се-стрёнка Ва́ля — по-взросло́му, зна́чит, Валенти́на, — но про неё́ не скажу́ ни сло́ва — девчо́нка! Да и что хоро́шего мо́жно сказа́ть о чело́веке, кото́рый то́лько и зна́ет, что вози́ться с кукла́ми, визжа́ть при ви́де кро́шечного лягушо́нка на мо́крой тропи́нке в саду́, полднѳа, закусив язы́к, бессмы́сленно скака́ть через верёвку? Нет, она́ не в счё́т... Не зна́ю, заче́м то́лько родя́тся э́ти девчо́нки! Как бу́дто нам без них пло́хо.

А вот Па́ша... Да, Па́ша—э́то совсе́м друго́й разгово́р.

Це́лый день над на́шим до́миком с ре́вом и сви́стом пронóсятся самолё́ты — стёкла в око́нных ра́мах пры́гают и стучáт, ку́ры куда́хчут, как чумные́, вспомина́ют с перепугу́, что они́ пти́цы, и, вы́тянув вперёд ше́и, перелета́ют через забо́р на бре́ющем полёте. А ма́ма выхо́дит на крыльцо́, засу́нув ру́ки под зелёный перёдник, и гово́рит, щу́рясь на я́рко-голубо́е не́бо:

— Видáть, Па́шка-сорванец́ про́бует но́вый аэро-плáн. Ку́рам снести́ яи́чко споко́йно не даст!..

Смешна́я ма́ма! Па́шкой-сорванцо́м она́ назывáет не како́го-то там паца́на с коша́чьими цара́пинами на носу́, а лётчи́ка-испытáтеля, хра́брого чело́века, а аэроплáна-ми — реакти́вные истреби́тели и скоростны́е бомбарди́ровщи́ки! В о́бщем, в своё́ время она́ учи́лась в церков-

ноприхо́дской шко́ле, и в те́хнике её, на́до сказа́ть, сла́бо подкова́ли — реакти́вный от ПО-2 отличи́ть не уме́ет!

Домо́й Па́ша приходи́л голо́дный, уста́лый. Пе́рвым де́лом он бы́стро ста́скивал гимнасте́рку, и я полива́л ему́ во дворе́ из си́ней эмалиро́ванной кру́жки Па́ша нагиба́лся, а я полива́л и све́рху гляде́л на упру́гие, твёрдые бугры́ му́скулов на его́ плеча́х и рука́х кото́рые тяжело́ и уве́ренно дви́гались под те́мно-кори́чнево́й загорело́й ко́жей, и ду́мал: скорей́ бы и у меня́ ви́росли на рука́х, груди́ и животе́ такие́ му́скулы, а то ведь, е́сли говори́ть че́стно, меня́ бо́ятся тро́гать мальчи́шки с дру́гих у́лиц не потому́, что я си́льный и сме́лый и́ли там би́цепсы¹ мои́ не влеза́ют в рука́ва руба́шки, — нет, где там! — а потому́, что есть у меня́ он, брат мой, Па́ша.

Полива́я ему́, я представля́л, как вот э́ти большо́е шерша́вые ладо́ни ложáтся на рычаги́ боево́го самолё́та и ве́дут его́ сквозь облака́ и дожди́, сквозь снег и тумáны, а его́ зоркие́ си́ние глаза́ огляды́вают све́рху не то́лько наш городóк, но и всю на́шу большо́ую зе́млю.

Иногда́, уходя́ на аэродро́м, он шу́тливо грози́л: «Смотри́ у меня́, парши́вец, о́пять залезе́шь в сад Ива́на Кузьми́ча — с не́ба уви́жу, спу́сь, ру́ки оборву́!»

Но Па́ша не то́лько ругáл меня́.

Одна́жды, когда́ у нас неча́янно сгоре́ла большо́ая фюзеля́жная моде́ль², кото́рую мы масте́рили всем зве́ном це́лые две неде́ли, и мне так ста́ло жа́лко её, что я не смог удержáться от слёз, Па́ша попра́вил широ́кий по́яс, положи́л мне на плечо́ тяжё́лую ру́ку и сказа́л:

— Эх, братóк, и лю́ди, случáется, за́живо сгора́ют, а не реву́т...

Мне срáзу ста́ло так нехорошо́, что я отбро́сил его́ ру́ку и убежа́л из дому. Ведь я твёрдо́ реши́л сде́латься

¹ Би́цепсы (би́цепс) — плече́вые ми́шцы.

² Фюзеля́жная моде́ль — моде́ль с ко́рпусом. Фюзеля́ж — ко́рпус самолё́та, в кото́ром размещáются экипа́ж (лётчик, штурма́н, радист), пассажи́ры и разли́чные гру́зы.

лётчиком. Лётчиком — и больше никём. Недаром же мама сшила мне из старого кожаного реглана Паши курточку, а вместо тряпичной штатской кепки я со второго класса носил настоящий авиационный шлем на мягкой подкладке который тоже подарил мне Паша.

Мылся Паша не спеша. Он долго тер шею и даже доставал рукой через плечо до лопаток и совсем не боялся, что холодная вода затекает ему под белую майку и на ней выступали тёмные пятна. Паша сильно фыркал и смешно кричал когда мыло попадало ему в глаза, и сердито говорил чтобы я не жалел воды. Воды... Эх, да знал бы он, что я и жизни своей не пожалел ради него! Как он не понимал этого!

Паша, Паша... Да, вот это человек!

У меня с ним одна фамилия и отчество, а больше, если по правде говорить, ничего похожего и не было! Вы, может, не верите, думаете, я хвальбишка какой? Эх, вы! Так слушайте: ему, например, ничего не стоило перевезти меня вплавь на своих плечах через реку, за три вечера прочитать тяжёлый, как кирпич, том «Клима Самгина», левой рукой три раза выжать громадную дубовую колоду, на которой во дворе рубили дрова. Да и не только это мог он сделать! Вы, конечно, можете сто раз обзывать меня лгунишкой, но он при мне совывал пальцы в зубастую пасть свирепому псу, по кличке Буян, которого боялась вся улица, и при этом пёс добродушно помахивал лохматым хвостом!

Теперь вы поняли, что это был за человек?

А я? Что я! Мне только и оставалось, что поливать ему из кружки и смотреть, как пролетают над домом самолёты. Если мне хотелось, как взрослому, закурить «Ракету», так и тут приходилось, спасаясь от мамы, убежать за угол дома и там курить, — торопливо, кашляя и вытирая слёзы от скребущего горло едкого дыма... Эх, скорее бы подрасти! А то, пока ты маленький, никто не считается с тобой и каждый попрекает словом «мальчик»:

«Мальчик, курить вредно!»

«Мальчик, до шестнадцати лет на эту картину вход воспрещён!»

«Мальчик, птицы приносят пользу, в них нельзя стрелять!»

«Мальчик, нехорошо цепляться за машину.»

Тёплыми летними вечерами мы часто сидели с Пашей на лавочке возле дома, молчали и слушали, как медленно засыпает город. Помню, Паша говорил мне, что я, наверно, доживу до того времени когда не нужно будет больше строить ни истребителей, ни бомбардировщиков, потому что некого и незачем будет истреблять и бомбардировать, а все люди на всей большой земле станут жить в дружбе. И тогда наш народ, наверно, начнёт выпускать такие реактивные пассажирские корабли, что на них можно будет из нашего города за полдня без пересадки долететь до Австралии или даже до самой Антарктиды.

— И ты будешь их испытывать? — вскрикнул я, вскакивая с лавочки.

— А ты что думаешь? Может, и буду, — ответил Паша, подпер рукой подбородок и долго-долго слушал, как в тёплой вечерней тишине бьют часы.

Бой раздавался с древней церкви. Говорят, лет пятьдесят не звонили колокола этой церкви. А вот большие часы на высокой башне до сих пор ходят точно и исправно и отбивают каждые пятнадцать минут. Если в небе не гудят самолёты, то с любого конца городка слышен этот бой.

Так вот, в этот вечер услышал Паша бой часов, закинул ногу за ногу, задумался, а потом грустным голосом сказал:

— Не успеешь выкурить папироску — бьют четверть, не успеешь дойти до аэродрома — бьют, не прочитаешь и двадцати страниц книги — бьют. Бьют и бьют. Вот так, браток, летит время и жизнь. Не успеешь и оглянуться,

как набьют они тебе полсотни лет. А что ты сделал за это время? Ничего. А многое можно сделать за пятьдесят лет. Очень многое...

Я ничего не ответил ему тогда, но в душе был глубоко не согласен с ним. Хорошо так говорить, когда тебе уже набило двадцать четыре года, а каково же нам, ребятам? Для всех дел малы! Нет, это, наверно, взрослые нарочно придумали такой несовершенный механизм, чтоб часовые стрелки ползли медленно.

Но Паша всё реже и реже сидел по вечерам со мной на лавочке возле дома.

Приходя с работы он, обжигаясь щами, торопливо ел, быстро переодевался в серый штатский костюм, который мама каждый день специально отглаживала для него. Брюки он надевал очень странно: влезал на стул и осторожно, словно они были стеклянные и могли ломаться, погружал ноги в штанины.

В непривычном костюме он сразу становился не похожим на себя, и мне было даже как-то неловко с ним. Хотя, если хорошенько приглядеться, всё равно можно было догадаться, что он лётчик, — так по-особенному он ходил, смеялся и смотрел. Вы спросите — как? Объяснить этого я вам не могу, ведь я никакой не писатель и по литературе у меня даже стоит тройка в журнале, и Вера Александровна пригрозила, что, если не исправлюсь, в четверти тройку выставит. Так что сами лучше понаблюдайте за людьми, которые летают в воздухе, и без моей помощи всё поймете. Лётчики совсем особенные люди, и их не спутаешь ни с кем!

Потом Паша долго крутился перед зеркалом вроде сестрѣнки Вали, морщась от боли, зачесывал назад жесткие, как конская грива, черные волосы, слюнил палец и приглаживал черные, точно под линейку проведенные сажей брови и куда-то пропадал. Когда я ложился спать, его койка всё ещё была пуста; когда я просыпался, он уже шагнул на свой аэродром.

Но вот однажды я увидел такое, что даже глазам своим сразу не поверил и остолбенел: неужели это мой Паша?

В нашем городе есть парк, обнесѣнный высокой стеной из серебрястых металлических прутьев с острыми наконечниками сверху, похожими на пики. В парке показывали кино и разные выставки, в нем можно было покрутиться вниз головой на маленьких самолѣтиках; покататься на качелях и увидеть себя в вогнутых и выпуклых зеркалах то толстым, как бочка, то худым и вытянутым, как селѣдка. Но, чтоб попасть в этот парк, нужно купить в окошечке у тѣтенки с бородавкой на подбородке голубой билетик за рубль. Тогда еще деньги брали за вход. А где нам, ребятам, взять их? Вот мы и забрались в парк не через главный вход, а перелезали через ограду в самом дальнем углу, куда редко заглядывал милиционер и где горела всего одна лампочка.

Так вот, перемахнули мы однажды ограду, идѣм по оранжевым от кирпичного песка дорожкам возле молодых акаций и спорим, что легче было для Чкалова: пролетѣть под фермами моста или совершить беспосадочный полѣт через Северный полюс. Идѣм, значит, спорим, шумим — даже в ушах звенит, — и вдруг я вижу... Нет, вы только подумайте, кого я увидел на скамейке! Пашу... И с кем!

Сразу что-то больно толкнуло меня в грудь, словно камнем ударили. Даже еще больней. Я остановился, будто ноги отнялись, и сказал ребятам:

— Идѣмте по левой дорожке, так ближе до кино.

Но ребята уже всё увидели, и долговязый Жорка Сорочкин, учившийся в седьмом классе, как черепаха вжал голову в плечи и противно захихикал:

— Глядите-ка! Лѣшкин Пашка!

Впервые я покраснел за своего бесстрашного брата. И как покраснел!

Паша сидел на железной скамейке с какой-то девуш-

кой в зелёном платье и большими косами с шелковым бантом, точно таким, как и у нашей Вальки! Я всегда дёргал за этот бант, когда хотел позлить сестрёнку: дернешь за кончик — и бант развязывается, как шнурок на ботинках.

И сидели они как-то странно: так близко друг к другу, словно на скамейке не хватало им места, а ведь скамейка-то была пустая, ещё бы семь человек поместились на ней!

Так, значит, вот почему не сидит он больше со мной на деревянной лавочке возле нашего дома! На этой жёсткой железной скамейке в парке, куда можно пройти только за рубль — да и за эту платить ещё надо, — оказывается, интересней сидеть Паше!

И, хотя ребята рысцой пробежали возле той скамейки, мне почему-то стало очень стыдно, и я резко свернул влево и помчался по боковой дорожке. А когда мы вдоволь нагулялись в парке и выходили через главный вход и толстая старушка билетёрша, хорошо нас знавшая, всплеснула руками: «Не видела я, чтобы вы входили сегодня в эти ворота!» — и ребята, надрывая животики, дружно захохотали, мне было совсем не весело.

Я шёл и упорно думал: как же могло получиться, что между нашей дружбой встала эта длинноногая?

Перед домом оглушительно визжали девчонки. Две из них глупо крутили над самой землёй бельевую верёвку, а Валька быстро прыгала через неё сразу обеими ногами, как стреноженная лошадь¹. Прыгала Валька так старательно, лицо её было таким серьёзным, словно делала она страшно важное дело. Все они такие...

Не знаю почему, но меня тогда такое зло взяло на неё — захотелось побить. Стал вспоминать, за что бы дать ей подзатыльник. В понедельник наядбедничала маме про разбитое окно — за это уже ревели; в среду на-

¹ Стреноженная лошадь — лошадь со связанными передними ногами.

сплетничала брату, что я пустил «товарный поезд» из носа Кольки Петухова, который украл у моего лучшего друга Сени Марченко редкую марку Бермудских островов, — за это тоже поколотил её...

Больше ничего я не мог припомнить. Что ж, можно стукнуть и так, чтобы наперёд не жаловалась!

Я подбежал и резко дернул за верёвку, когда она находилась как раз под ногами сестрёнки. Она споткнулась, взмахнула руками, но удержалась и не упала. Мне стало грустно, и я нехотя поплёлся домой. Я поднимался по скрипучим ступенькам, а в тёплом вечернем воздухе печально раздавался перезвон башенных часов, который так много мне напоминал.

Когда я укладывался спать, койка Паша была пуста. Я лёг спиной к ней, с головой влез под одеяло и всё думал, что, конечно, девчонки не могут быть настоящими людьми... Человек, который боится ужей, лягушек и угрозы мамы и весь день только тем и занимается, что передевает куклу и шьёт ей из лоскутков платья, никогда не сможет совершить настоящий подвиг... А разве можно назвать человеком того, кто не готов на подвиг?

Но я опять видел железную скамейку в городском парке и не знал больше, что думать.

А наутро к нам пришла соседка и стала, причитая, говорить маме про меня, что я расту озорником и хулиганом и не даю прохода девочкам, кидая в лужи камни, когда они проходят возле воды, ставлю подножки, бросаю в волосы колёчки от лопуха... Что же будет из меня, когда вырасту большой?

Мама махнула рукой, печально подперла ладонью щеку и почему-то сказала, вздохнув:

— Паша тоже был такой, а теперь заявляется домой ни свет ни заря. И смиренный какой-то стал — всё по хозяйству норовит сделать вперёд меня, словно дел других нету...

Соседка почему-то весело засмеялась, противно под-

мигивая и показывая бѣленькие зѹбки, а я впервые не знал, хорошо это или плохо, что я похож на Пашу.

Быть может, я и простил бы брату всё его предательство, если бы не один слѹчай, который произошёл через две недѣли.

Однажды в воскресенье Паша решил прокатить меня и Валью на катере, а заодно и порыбачить. С вечера я накопал в консервную банку отменных красных червей в Заячьем овраге, напарил гороха и на всякий слѹчай даже наловил в круглую коробку из-под леденцов кузнечиков. И вот мы спустились с горы к небольшой пристани. Валья, как женщина, была завхозом — она тащила клеенчатую сумку с провизией, я нес удочки, а Паша шёл налегке. Вот он уже купил три билета, и мы торжественно вступили на гибкие сходни пристани, как вдруг сзади раздался чей-то негромкий голос:

— Павел!

Паша так вздрогнул, что я просто удивился.

Сзади, на невысокой, поросшей травкой террасе, стояла та самая длинноногая, с большой косой. На ней уже было не зелёное, а белое платье с синим жуком вместо брошки — думала, очень красиво. На тонкой, согнутой в локте руке висела круглая белая сумочка. Туфли тоже были белые, и только гладкие волосы и высокие брови казались чернее вороньего крыла. В лицо ей било солнце, и она жмурилась и недовольно морщила нос.

Услышав её голос, Паша сразу забыл и про нас с Вальей, и про билеты, и про отменных красных червей, накопанных в Заячьем овраге, и про катер. Прижав к бокам локти, он бросился на горку навстречу ей.

Потом она что-то говорила ему тоненьким, пискливым голоском, капризно выгибая губы и размахивая своей сумочкой, а Паша внимательно разглядывал носки начищенных сапог и всё время поправлял широкий летный ремень, хотя тот был затянут у него по уставу — пальца не просунешь. Она за что-то отчитывала моего

старшего брата, а он молчал, словно язык проглотил, и не мог ей дать никакого отпора, и это он, человек, который испытывал новейшие самолёты, который бесстрашно вкладывал пальцы в зубастую пасть Буяна!

Признаюсь, смотреть было противно.

Набежал ветерок и донёс до меня обрывок их разговора.

— Значит, я весь день должна сидеть одна?

— Не сердись, Нина, давно обещал ребятишкам.

— Ну, знаешь, если так...

— Постой, Нина... Сейчас мы всё уладим.

— Хорошо. Улаживай. Я подожду. У меня, между прочим, есть одно предложение: сходим сегодня...

Я не расслышал, куда она звала моего Пашу, но заметил, что он озабоченно поглядывает в нашу сторону и в нерешительности топчется на месте, катая под подошвой сапога маленький серый кругляш.

Что-то жалкое и растерянное проглядывало в его глазах, широкие плечи опустились, словно утратили всю свою силу и упругость. Первый раз он был не совсем похож на военного лётчика. Я глядел на него и думал, что вот сейчас навсегда решится для меня вопрос, можно ли с этого дня уважать Пашу, как раньше, или немного поменьше. Он ответил ей что-то, но ветер стал дуть от нас и относил его слова в другую сторону.

Через минуту Паша бегом спустился с откоса к нам и, насупив брови, сказал страшно серьёзным голосом:

— Поездка отменяется...

Я ничего не ответил ему, а выхватил из кармашка своего пиджака три билета, разорвал их на клочки и бросил в тёмную воду.

Рубаха сразу прилипла к вспотевшей спине, а перед глазами заплескали расплывающиеся круги. Нет, это было слишком! Хотелось упасть лицом в траву и зареветь, но рядом была Валька, и я не упал и не заревел.

Я зачём-то дернул её за руку и, не глядя и не слушая,

что говорил Паша, резко повернулся к нему спиной и быстро пошёл домой по узкой песчаной дорожке между старыми развесистыми клёнами. Паша что-то кричал мне вслед, но я не обращал на это никакого внимания. Скоро меня догнала сестрёнка с клеёнчатой сумкой в руке.

— Какие у ней косы! — восторженно воскликнула она.

— У-у-у... Замолчи ты, дура!.. Ничего не понимаешь! — заорал я и ударил её в плечо так, что она выронила сумку, и из сумки выкатились консервная банка с червями, три московские булочки и бутылка с лимонадом.

Вашины губы запрыгали, жалобно скривились, и она заревела на весь берег. Я не мог видеть, как она плачет, и поэтому побежал по дорожке вверх, потом забился в глухие кусты бузины, упал на мокрую от росы траву и — только вы другим не передавайте — заревел.

Потом я зачем-то вынул из бокового кармана коробку с живыми кузнечиками, поднес её к уху. Кузнечики постукивали сильными задними ножками в тонкие стенки, копошились и шуршали внутри. Тогда я немного приоткрыл коробку и, даруя кузнечикам свободу, одного за другим стал выпускать своих зелёных узников. Скачите куда глаза глядят, кузнечики! Так и быть, живите... Если б вы только знали, что я сегодня потерял!

Две недели после этого случая я не разговаривал с братом, потому что знал: настоящая дружба между мужчинами основывается на твёрдых законах, а если и он считает меня несчастным ребёнком, который ничего не понимает и может только из рогатки стрелять, тогда нам больше не о чем с ним говорить! От чужих людей всё можно услышать, а вот от родного брата...

Однажды мы сидели на плоской крыше нашего «ангара» — так мы называли наш деревянный сарай — и починяли припóлок голубятни. День был ясный, солнечный, небо блестящее и чистое, как школьная доска, хорошо вытертая перед уроками мокрой тряпкой.

— Ребята, глядите! — вдруг крикнул Сенька Марченко, сидевший на краю крыши, и так подался всем телом вперёд, что едва не свалился вниз.

Мы увидели над городом серебристый истребитель. Летел он как-то необычно: то зарывался носом вверх, словно рыба, которой не хватает воздуха, то неуклюже кренился на левое крыло, то опрокидывался на правое.

— Ловко летит, высший пилотаж! — восхищённо сверкнул глазами рыжий Коська Воробьёв.

— Дурак! — гневно оборвал его Сенька. — Несчастье с ним, разве не видишь?

Коська сразу присмирел, недоверчиво глянув на Сеньку.

Самолёт действительно летел странно: он вдруг перестал переваливаться справа налево. Он, как контуженый, косо накренив крылья, мчался над городом, сверкая на солнце фюзеляжем. Машина стремительно теряла высоту, то отвесно падая к земле, то с трудом выравнивая курс. Казалось, самолёт потерял управление и так отяжелел, что небо не могло больше держать его в своей синеве. Странно было и то, что он держал путь не к аэродрому, а на наши огороды.

Мы следили за ним и не знали, что в таких случаях надо делать. Я почему-то мгновенно вспомнил, как однажды малыш сорвался с окна второго этажа, но случайно ухватился одной рукой за подоконник; взрослые успели выбежать вниз и, растянув в руках одеяло, поймали паренька. А как быть здесь? Парашют? Не поможет — слишком низко. Между тем свистящий гул самолёта то нарастал, то замирал.

«Ну давай ещё немножко, дотяни до аэродрома, дожди, милый!» — шептал я про себя, и сердце колотилось так гулко, словно рядом находилась кузня.

Что случилось дальше — было как страшный сон. Никогда не забуду я этого. Самолёт врезался в огород. Чёрный столб дыма и огня смерчем взлетел в небо. Зем-

ля вздрогнула от грохота. От воздушной волны низко полегли кусты картофеля. Сенька закричал и стал белый как мел. Коська застыл с открытым ртом и вытаращенными в ужасе глазами. А я... Да я и не помню, что было тогда со мной...

Когда дым немного рассеялся, мы увидели, как огонь жадно пляшет на измятых, обугленных обломках машины. Остро запахло горячей резиной и краской. Сенька схватился руками за лицо и заплакал. А я смотрел на всё это сухими глазами. Смотрел и не мог отвести взгляда. Внутри было пусто и холодно.

Так мы втроем сидели на крыше сарая и не могли сдвинуться с места.

Не успели мы прийти в себя, как с аэродрома примчалась белая санитарная машина с красным крестом на боку, а за ней пожарная. Люди поспешно разбросали жерди изгороди и заметались возле громадного чадящего костра. Сильными бранспойтами потушили огонь. В санитарную машину внесли что-то длинное и страшное, завернутое в зелёный брезент. Остановившимися глазами провожали мы эту машину, которая с захлёбывающимся криком помчалась по солнечным улицам нашего городка.

— Погиб... — тихо сказал Сёня.

Я ничего не ответил ему. На душе стало так тяжело, что я не мог даже пошевелить языком. Я никогда ещё не видел, как умирают люди, и вот сейчас увидел. Только теперь, только теперь я подумал, какая опасная и трудная работа у Паши, и сразу простил ему все свои глупые обиды. И вдруг в мою душу легонько закралось сомнение: а если и со мной случится такое? Может, выбрать себе более надёжное дело? И тут же, презирая себя за подлую трусость, я плотно стиснул зубы.

Нет, я буду лётчиком. Лётчиком! И только лётчиком!

Когда машины уехали и шум их замер вдали и на городок опустилась непривычная тишина, мы молча слезли с крыши.

Я не мог смотреть на огород с помоями кустиками картофеля, на следы машин, глубоко врезаемые в мягкую землю двора.

Я ушёл в другой конец городка и долго бродил по тихим, заросшим травой улочкам.

Когда я вернулся домой, в столовой сидел знакомый лётчик, майор дядя Саша, высокий, худощавый, с седыми висками и дочерно загоревшим лицом, крепкий и ловкий, как и все настоящие лётчики, а рядом сидела мама и, подперев голову руками, неподвижно смотрела в пол.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, — ответил дядя Саша очень тихо.

Голос у него всегда был громкий, отрывистый, словно рядом ревели моторы самолётов и он, заглушая их, отдавал команду. Но сегодня он говорил тихо.

Дядя Саша сидел как-то неудобно, на самом кончике табуретки, словно никогда не был у нас и все мы незнакомые ему. А на самом деле он частенько заходил к нам, брал у Паши книги почитать и любил выпить стаканчик чая с душистым малиновым вареньем.

— Вот как... — сказал он и помахал перед лицом фуражкой, как будто в комнате было душно.

В доме стало так тихо, что я услышал, как зашедшие на крылечко куры клювами тукуют по полу, склёвывая хлебные крошки и крупинки пшена, застрявшие в щелях между досками. У мамы вздрогнули плечи, и вдруг я почувствовал, как что-то холодное пробежало по жилам.

— Па-ша? — спросил я, впиваясь в опущенные глаза дяди Саши.

— Па-ша... — прошептал лётчик, но этот шепот оглушил меня.

Я выбежал во двор, чтоб не слышать того, что скажет он дальше. Мне казалось, что то страшное слово, которое он не договорил, ничего не будет значить, если я не услышу его.

— Пашенька, прости, — шептал я, забившись в тем-

ный угол сарая, где было свалено сено для козы. — Как же это так? Ведь мы ещё не съездили с тобой за окунями... Хорошо, не сиди со мной по вечерам на лавочке, не надо! Но как же так можно?

Нам показали только закрытый гроб.

Я стоял и смотрел на красную крышку. А за крышкой был он, кем так гордился я, кому так завидовал. «Значит, настоящий мужчина должен иногда заниматься таким делом, что потом его нельзя показать даже родной матери и родному брату», — подумал я, и что-то внутри меня сдвинулось, и я весь вздрогнул, словно сердце встало на другое место. И тогда, лишь тогда впервые понял я, что такое долг и что чувства сильнее его, может, и нет на земле!

Никогда не забуду эти дни: и глаза матери, и военный оркестр, и сырую бурю землю, выброшенную оттуда, куда должны его опустить, и прощальный залп военного салюта.

Говорили над гробом кратко. Но и из этих кратких, скупых слов его товарищей я впервые узнал, как много новых самолётов испытал лейтенант Павел Иванович Егоров, и они покажут себя в бою, эти самолёты, если враги посмеют сунуться на нашу землю. А что разбился... что ж... Это, к сожалению, ещё случается в жизни пилотов. Чкалов, великий лётчик, — и тот разбился.

А та девушка, которую я видел в городском парке и на пристани, была очень бледна и всё время молчала, и я старался не смотреть на неё. И мне нравилось одно: что она не плачет. Но, когда гроб на верёвках опустили в яму, и о крышку ударила первая горсть земли, и мокрые комочки покатались в рассыпную по красной материи, она вдруг упала на край могилы. Все бросились её поднимать, а я стоял рядом и смотрел вниз на горсть земли, рассыпанной на крышке. Смотрел — и ничего не понимал.

А когда мы шли домой и Пашины товарищи поддерживали под руку маму, которая спотыкалась на каждом бугорке, ударили часы на башне. Я смотрел на чёрный расплывающийся циферблат, и часы словно напоминали мне: «Вот так, браток, летит время и жизнь...»

Уже год, как не стало брата. Скорее бы вырасти и пойти в летное училище — этим я жил в те трудные дни. Но осенью на медосмотре наш школьный врач, лысый старичок в пенсне, выслушал мою грудь холодной чёрной трубкой и сказал, покачивая головой, что у меня неважное сердце. «Значит, прощай авиация!» — больно ударило в виски, и я с ненавистью посмотрел на врача и чуть не заплакал от обиды и беспомощности.

Я сбежал с последних уроков и долго бродил по берегу реки. Стояла осень, и вода была мутная и холодная. Вниз по течению проплывали одинокие жёлтые листья и брёвна, вырвавшиеся из плотов.

Я не знал, что делать. Легче было броситься в воду, чем примириться с тем, что я никогда не влезу в кабину самолёта и не взлечу в небо. «Мужчина без крепкого сердца — ничтожество, — думал я. — Неужели этот подслеповатый рыжий старикашка в белом штопаном халате, пропахший йодом и спиртом, сказал правду?» И вдруг я понял, что, хотя я и живу и дышу, — нет больше меня на земле: то, о чём мечтал, не сбудется. А какой же это человек, кто не знает, для чего он родился?

Как сейчас помню — всё небо было забито тёмными дождевыми облаками, и косые длинные лучи сентябрьского солнца лишь на мгновения пробивались сквозь них и тускло поблёскивали на стеклянных крышах цехов авиационного завода. А я шёл и шёл, сам не зная куда. Мне было всё равно — куда.

И вдруг я на что-то наткнулся грудью. Это была кладбищенская чугунная ограда, и я увидел косо прибитый к шесту синий деревянный пропеллер, под которым лежал Паша. И тогда я захотел пожаловаться старшему брату

на свою горькую участь. «Знаешь, Паша, а я забракóван... Что же мне теперь дéлать? Как быть? И зачём только я родился такой...»

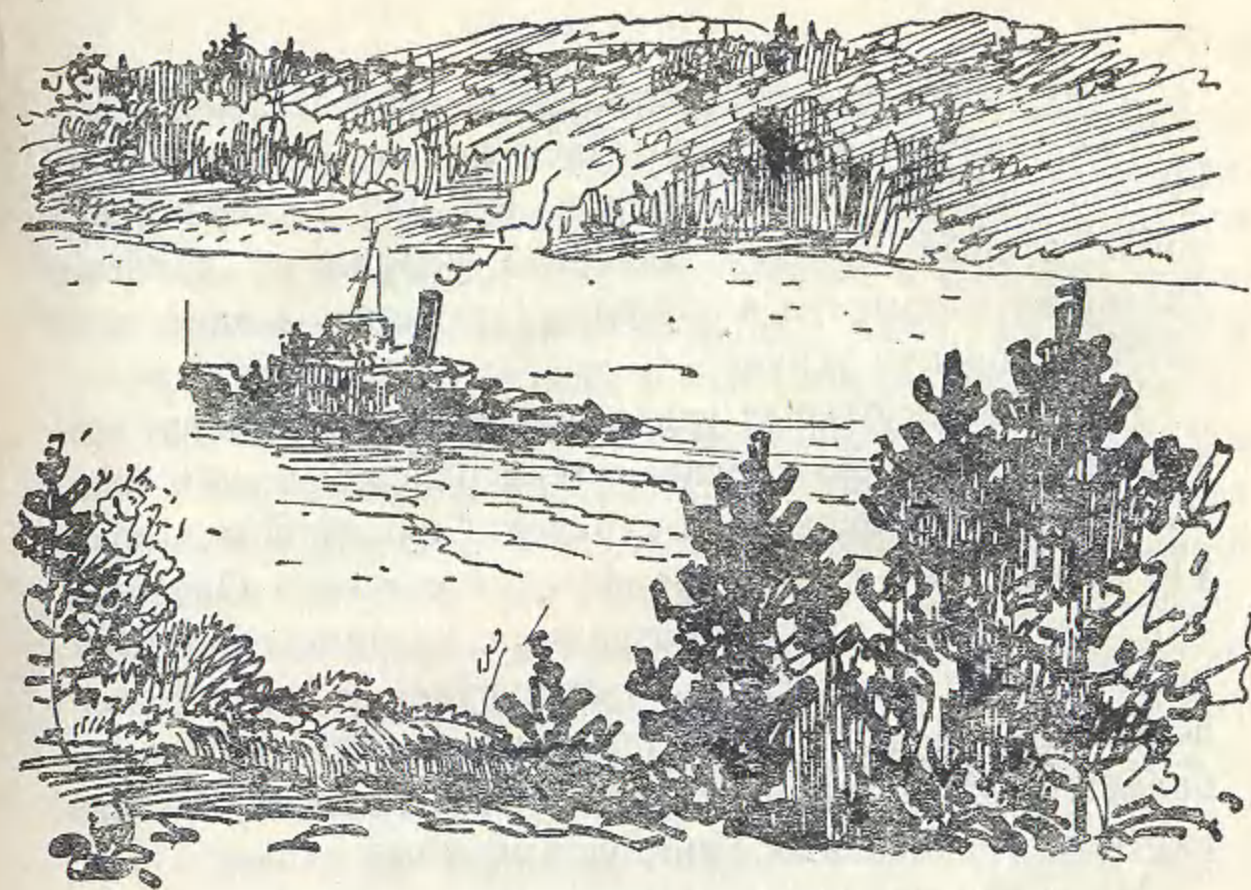
Я стоял и смотрéл на рыжую траву на маленьком холмике.

Бýло очень тóхо. Ржавые дубóвые листья отрывáлись от чёрных ветвéй, мéдленно кружились в спокойном, прозрачном вóздухе и осторожно касáлись земли, слóвно боялись когó-то разбудить. Стáрые вёрбы, опустив вниз ветви, молчаливо стýли в сторóнке и ничего не могли отвéтить. Бýло тóхо. Очень тóхо. Никогдá я не знал, что на землé мóжет быть так тóхо. И только во мне чтó-то стучáло так грóмко, слóвно навстрéчу с грóхотом шёл тяжеловéсный пóезд, приближáясь с кáждой секундóй...

Лёгким порывом вéтра отнесло облакá, и яркое тёплое солнце осветило мне лицó, и вдруг вся моя жизнь в одно мгновéние пронеслась передо мной, и мне показáлось, что я заново родился, родился во вторóй раз.

С нéба пáдали потоки свéта, а я стоял внизу, на землé, я твёрдо стоял на землé, ощущáя её подошвами ботинок и всем своим телом, я стоял на этой сурóвой землé, и мои пáльцы сáми стýснулись в кулакí, а на сéрдце вдруг стáло так хóлодно и вмéсте с тем так легкó, и оно сжáлось непоня́тной бóлью и радостью.

Кем бы я ни был, я не посрамлю тебя. Я бýду человеком... Даю тебе слóво, Паша!



ЗЕМЛЯ, ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ

— Мам, я готов! — крикнул Алик.

В ванную комнату вошла мама с цветным полотенцем и, пересчитывая пальцами рёбра и позвонки, стала насухо вытирать сына. Полотенце было огромное, пляжное, купленное перед поездкой в Гагру, и его бы хватило, чтоб вытереть десять Аликов. Мальчик весь утонул в нём, и только голова со взъерошенными, как у ежа, волосами выглядывала наружу. Он покорно ворочался в сильных руках мамы, рассматривая в молочно-белых кафельных¹ стенах своё отражение.

Наконец, когда Алик был основательно, до жжения в коже, вытерт, мама разрешила ему покинуть ванну, из которой уже давно сошла вода.

— Не становись на пол, он холодный.

Под ноги Алика подъехала фанёрка.

¹ Кафельный — из кафеля. Кафель — тонкая плитка из обожжённой глины, покрытая с лицевой стороны глазурью.

— А тепёрь — в постель. Завтра рано вставать.

Поёживаясь, Алик промчался по янтарному паркету — его только вчера натёрли. На миг остановился у рояля, открыл крышку, пятернёй ударил по басовым клавишам и прыгнул в постель. Зарывшись в одеяло, он почти мгновенно уснул.

Когда Алик открыл глаза, на стене шевелились причудливые, сказочно красивые тени райских птиц с пышными хвостами, испанских каравелл¹ с надутыми парусами, кокосовых пальм с тропических островов Океании... Эти тени, невесомые и прозрачные, казались продолжением сна, но Алик сильно встряхнулся и окончательно понял, что никакого чуда здесь нет, просто солнце пробивается сквозь узорные занавески, рождая в его голове картины прочитанных книг, услышанных сказок.

Из кухни наплывал острый запах жареного лука и доносился недовольный мамин голос:

— Я же, кажется, просила тебя, Глаша, купить курицу помоложе. Опять мясо будет такое жёсткое, что Алик откажется есть.

«Конечно, откажусь, — подумал Алик, — очень нужно разрывать зубами жилы и потом полчаса жевать их, как ластик. Жуёшь, жуёшь, челюсти устанут, а вкуса никакого».

— Я просила помоложе, — оправдывалась няня. — Откуль же я знаю... Вот теперича...

— Сама-то ведь деревенская, должна разбираться... Всё учить тебя надо.

Алику стало жаль няню, и он уже был готов есть старую курицу, только б мама отстала от Глаши. Вначале, когда Алик ещё не ходил в школу и полжизни его занимала эта худенькая расторопная² девчонка с жидкими

¹ Каравелл; каравелла — четырёхмачтовое парусное судно с треугольными парусами (в средние века в Италии, Испании, Португалии).

² Расторопная — очень подвижная, проворная в деле.

косичками, уже не деревенская и ещё не городская, и учила его по листьям и коре отличать осину от ольхи, кедр от сосны, по пению узнавать синицу и снегиря, он перенимал и её словечки — «теперича» и «откуль», и мама как-то раз отчитала её на кухне: раз Глаша живёт в городской интеллигентной семье, она должна выбросить из головы эти грубые таёжные слова. И всякий раз, когда Алик нечаянно употреблял их в разговоре, мама сердилась и заставляла повторять правильно, а Глаша краснела при этом как свёкла. Но сейчас Алик уже бегал в третий класс и научился говорить вполне грамотно, а вот Глаша до сих пор никак не могла отвыкнуть: стоит ей заволноваться, и опять с языка слетают «откуль» и «теперича».

— Вы Алика подняли? — донёсся из гостиной голос папы. — Через час подъедет такси.

Послышались торопливые шаги, и Алик притворился спящим. Глаша стала дёргать одеяло, тормошить, но мальчик всхрапывал и ничего не слышал. И, только когда шершавые, как наждак, от чистки картошки и стирки Глашины пальцы легко коснулись его пяток, Алик дико взвизгнул, захохотал и забил ногами. Ох, как не хотелось расставаться с тёплым одеялом, с дремотными силуэтами каравелл и кокосовыми пальмами на стене! Но Глаша была настойчива, и он с её помощью кое-как оделся.

В передней уже стоял перевязанный ремнём чемодан. Второй срочно упаковывался. Кроме того, мама, вздыхая и украдкой вытирая мокрые глаза, спешно укладывала в большую кожаную сумку жареную курицу в промасленной бумаге, пирожки, пластмассовую коробку с маслом, бутылочку с анисовыми каплями от комаров и мошки, чёрную икру (к ней Алик всегда боялся притронуться: а вдруг из неё возьмут и выведутся лягушки?), коробку с дорожным сахаром, конфеты. Папа Алика, видный инженер-гидролог, уезжал на два месяца в командировку

на строительство огромной гидроэлектростанции на Ангаре. С собой он решил захватить и Алика, потому что рядом со стройкой находилась деревня, родом из которой была жена, и в семье решили, что неплохо будет сыну отдохнуть у бабушки с бабушкой.

Быстро позавтракав, мальчик подошёл к роялю. Огромному и чёрному, как кит. Когда открывалась крышка, рояль ещё больше походил на кита: клавиши напоминали белые зубы — есть ли у кита зубы, Алик не знал, — торчащие из открытой пасти. Частенько Алик не пропускал уроков, и учительница музыки Аида Францевна, шелестя нотами, строго смотрела на него сквозь пенсне. Тогда мальчику казалось, что он падает в пасть кита и тот сейчас перетрёт его своими зубами-клавишами и уплывёт куда-нибудь далеко в океан.

Может быть, поэтому с роялем он расставался без всякого сожаления. Жаль только книг, особенно из библиотеки приключений, блестящих серебром корешков. Алик хотел было взять недочитанного «Следопыта», но папа сказал, что и так вещей набрали столько — пароход может утонуть, в деревне будет не до чтения, а если и захочется почитать, он со стройки принесёт...

Под окнами резко просигнало такси, и папа одной рукой схватил чемодан, другой — Алика и бросился по лестнице вниз. За ним торопилась мама с кожаной сумкой и, задыхаясь, давала сыну последние наставления: не бегать босиком, не купаться в Ангаре, не пить сырое молоко, ложиться не позже десяти и ещё многое другое... Сзади тащила на плечё второй чемодан Глаша.

— Прощай, мамочка, прощай! — крикнул мальчик, наконец оторвавшись от матери и удобно усевшись на мягком сиденье рядом с шофёром, возле циферблатов и кнопок. Хлопнула дверца, машина взревела и, как леопард, прижимаясь к земле, длинными упругими скачками помчалась к порту.

Через два дня в маленьком сибирском городке они

пересели с колёсного парохода на автобус, и не прошло и часа, как Алик с папой выгрузились в небольшой деревушке с тесовыми крышами и заплатами — высокими дощатыми оградами, как их принято делать в Сибири.

Всё вокруг было непривычно. В оба конца деревни уходили тёмные, сложенные из толстых брёвен избы, с причудливыми наличниками и резными ставнями. В одной избе между окнами на вате лежали кедровые шишки, во второй — ёлочные украшения: стеклянные звёзды, рыбки, зверьки... Из этих окон на Алика загадочно смотрел таинственный, неизвестный ему мир.

— Ну, вот мы и пришли, — сказал папа и двинулся к невысокому дому с ситцевыми занавесками на окнах и антенной: точно малярная кисть стоял на крыше шест с проволочной щёткой.

Опустив на траву чемоданы, папа дернул кольцо калитки.

Во дворе злобно залаяла собака, раздались неторопливые шаги. Внутри у Алика всё напряглось: кто выйдет сейчас к ним? Ведь он ни разу не видел ни бабушки, ни бабушки.

В калитке появился огромный худощавый дед в сатиновой косоворотке, без пояса, с усами и косматой бородой. У него были подвижные острые глазки, большие желтоватые уши. В руках он держал топор. Алик ошеломлённо уставился на деда, не зная, что делать дальше: поздороваться? улыбнуться? броситься целовать?..

Нет, пожалуй, поцеловать его он бы не смог: уж слишком дед был высокий, бородатый и не походил решительно ни на кого из папиных родственников, приезжавших к ним, с которыми Алик весьма охотно и запросто целовался.

Таких дедов Алик встречал на иркутском рынке, куда иногда брала его Глаша. Называла она их нехорошим словом «мужики». «Гляди, какой здоровый хариус¹ вон

¹ Х а р и у с — рыба северных рек.

у того мужика», — говорила она, или: «Ну его, этого мужика с говядиной, одни кости у него, а нам нужна мякоть на котлеты...» И у Алика сложилось странное впечатление о них: эти «мужики» казались жителями какой-то другой страны, которых не пускают жить в город и которые живут там, где кончаются городские кварталы и начинается тайга, поля и сопки...

И вот сейчас дед, очень похожий на рыночных мужиков, стоял в калитке и не выпускал из рук топора.

— Что, отец, родню не узнаешь? — сказал папа. — От Анки поклон.

— Ванюшка, никак? — Дед как-то странно моргнул и опустил топор на землю.

— Он самый, — сказал папа, подходя к деду.

Огромный и широкоплечий, дед на две головы возвышался над ним. Его ручки, длинные, жилистые, очутились у папы на плечах, и он крепко поцеловал его три раза.

— А это кто там ещё? — спросил дед, сверху осматривая мальчика.

— Сын... Ну, не прячься за папу, иди поздоровайся с дедушкой.

Алик вышел из-за папы, глядя в траву.

— Какой махонький ещё! — удивился дед.

— Подрастёт. Не сразу Москва строилась.

— Звать-то как?

— Алик, — буркнул мальчик, глядя куда-то в сторону.

— Как, как? — не расслышал дед.

— Аликом его зовут, — громко произнёс папа.

Дед усмехнулся:

— Не слыхивал я что-то таких имён. Верно, прежде чем дать, думали долго. В наши-то годы было проще: как народился мужчина — быть ему Иваном или Игнатием, ну Иннокентии, само собой, были в уважении. А теперича чего только не напридумают... Ладно уж...

— Александром его зовут, — сказал папа, чуть смутившись, — а мы его по-своему, по-домашнему...

— Саныка, по-нашему, значит.

У Алика что-то застряло в гортани. Лишь сейчас понял он со всей определённою, что этот дед совсем не родной ему. Его слегка покоробили и выгоревшая косооборотка без пояса, и эти таёжные «теперича» и «али», и ком навоза, прилипшего к его сапогу, и то, что деду не понравилось его красивое, звучное имя Алик. А когда дед, вдобавок ко всему, оглушительно выморкался в траву, мальчику просто стало не по себе.

Собака, встретившая их лаем, умолкла и, играя острыми ушами, подошла к Алику, обнюхивая его влажным носом.

— Да что ж это я вас, как нелюдей, перед воротами держу! — спохватился дед, одной рукой ухватил за ручки два тяжёлых чемодана, поднял их и шагнул во двор. — Милости прошу...

И почти тотчас из сеней выскочила бабушка, маленькая, сухонькая, до бровей повязанная тёмным платком. Она налетела на Алика, прижала, и он запутался в сборках её длинной юбки, в складках её домотканой кофты. Ну конечно, это бабушка: стала бы другая так тискать и целовать его!

Пережив первый прилив радости, бабушка отодвинулась от него и покачала головой, жалостливо озирая хрупкую фигурку внука, одетого в нарядный вельветовый костюмчик с лямочками крест-накрест и накрытого сверху пёстрой тубетейкой с кисточкой.

— Какой манёсенный, — вздохнула она, — одни рёбрышки и кожа, лёгкий, как петушок. Встреть я такого где, ни за что не сказала бы, что наш. А ведь-таки наш! — проговорила бабушка.

— Наш, — утвердительно кивнул дед, — на личность вроде в Ванюшку, а глаза наши, стрельцовские: синие, хватистые глаза. Только робок уж очень, забит...

— Ну вот, в деревне поживёт теперича... — продолжала бабка. — Вы уж нас извиняйте, чем богаты, тем и рады, — не город у нас тут, однако. Не взыщайте, если что...

— Да что вы, что вы! — заговорил папа с улыбкой. — У вас тут так замечательно, просто рай...

«Ну зачем говорить неправду?» — подумал Алик. Не совсем уж тут рай. И как он проживёт здесь два месяца среди кур и лебеды? Он, признаться, и от бабки был не в восторге. Никто ещё не резал ему в глаза, что он такой маленький и худенький, как петушок. Хорошо встретили гостей, хорошо, ничего не скажешь! Нет, папины родственники лучше, без гостинца не придут: то заводной танк привезут — мчится и искры из пушки летят; то коробку шоколадных конфет — сами во рту тают; то потешную фигурку толстого пингвина — их в Антарктиде, как у нас воробьев. И при этом лица папиных родственников так и лучатся улыбками, и все они в один голос говорят, что Алик такой хорошенький, такой развитый и милый мальчик... А здесь... Здесь всё не так.

Забиться бы куда-нибудь в уголок и тихонько поплакать, но куда тут забьешься, если вокруг ходят страшные шипучие гуси и в каждую дыру суёт свой мокрый нос собака. С внезапной нежностью вспомнил Алик о рояле, которому теперь целых два месяца суждено безмолвно стоять в гостиной и ждать его приезда, и Глаша раз в день будет вытирать его сухой тряпочкой, сухой — чтоб лак не попортился. И совсем уже не страшно было попасть в зубы этому чёрному добродушному киту.

— Как там Анна Петровна поживает? — спросил дед, когда они вошли в избу.

— Спасибо, — сказал папа, — хорошо.

— Поди, скучает по родным местам.

«Что она, дура, что ли, скучать по такой дыре!» — подумал Алик.

— Конечно, отец, страшно как скучает, — ответил папа.

«Ну зачем он опять говорит неправду?» Ведь ни разу, сколько помнит себя Алик, не вспомнила мама, не заскучала по этой деревеньке.

В избе их встретила ещё какая-то женщина, с заплетёнными на голове косами, молодая, полногрудая, — Надя, как называл её дед. У неё было заспанное лицо — верно, только что встала. В избе после улицы казалось сумрачно, и Алик, споткнувшись о табурет, чуть не упал. Но, когда глаза его освоились, он увидел бревенчатые стены — ни разу в жизни не был он в деревенской избе, — рубленый стол, лавки, самодельный буфет. У окна на полочке стоял небольшой батарейный приёмник, а в углу, как волчий глаз, настороженно тлел какой-то огонёк, освещая тощее, вытянутое лицо незнакомого человека в позолоченной рамке. Но ни этот странный портрет, ни приёмник, ни ослепительно белые подушки и занавески не делали избу красивой и веселой.

Просто трудно было представить, как можно жить в таком неудобном помещении, где вместо обоев и ковров — жёсткие брёвна, вместо паркета — стоптанные с широкими щелями половицы и вместо белого потолка с лепными украшениями — чёрные балки. А что уж и говорить про ванную! Дворцом показалась Алику их иркутская квартира по сравнению с этой хибарой!¹

Он сел на табурет, вобрав голову в плечи, и, сложив на коленях руки, размышлял, что ждёт его дальше.

Внезапно за перегородкой раздался детский плач. Надя, разговаривавшая с папой, бросилась в другую половину избы.

— Правнук, — сказал дед не без гордости. — Иннокентий. Тоже, как весь наш род, синеглазый... — и, видя, что Алик как-то странно улыбнулся, добавил: — А ты иди-ка, глянь на свою родню, иди, не пужайся.

¹ Х и б а р а — небольшой, очень бедный домик, избёнка, лачуга.

Алик вышел за перегорódку. В лёгком полукруглом ящичке, похожем на лóдку, на верёвках, привязанных к потолóчной бálке, лежал младенец. Он зашёлся от крика. Нáдя одной рукой укрывáла его нóжки, а другой плавно качáла ящичек и что-то приговáривала. Скóро Иннокéнтий перестáл орáть. Из его не по лицу огромных синих глаз ещё катились слёзы.

— Хорош пáрень, одна́ко? — спросил дед, поглядывая на младенца.

— Хорош, — ответил Алик и глотнул.

Ему было странно и как-то не по себе оттого, что вот этот замурзанный младенец — его родня и он должен с почтением относиться к нему. И Алик для приличия из всех сил старался улыбаться.

— Как народилась тво́я ма́мка, Ню́шка, значит, — сказа́л дед, стоявший за спиной, — я и сколотил эту вот лю́льку. С того времени пустой не остаётся...

Слово «ма́мка» резнуло ухо мальчика — за него ма́ма, на́верно, не погладила бы его по голóвке. Не понравилось и то, что дед грубо назва́л ма́му Ню́шкой, и уж Алик совсе́м порази́лся, узнав, что в этой лю́лке, как выража́лся дед, в этом, по су́ти де́ла, коры́те, качáли когда-то его ма́му. Ника́к не мог он предста́вить свою́ красивую и нарядную ма́му в этой избе́, пропахшей смо́лой и берёзовыми вениками, свою́ ма́му, лежащую в этой лю́лке.

— А после Ню́шки Афóньку колыхáли в ней, — сказа́л дед, обраща́ясь к па́пе. — Ты по́мнишь его? На ва́шу сва́дбу прилетáл.

— Как же, — ответил па́па, — тако́го па́рня да не по́мнить! Уже́, на́верно, «ИЛ» вóдит.

— Да нет уж, тепе́рича Афóньку посади́ли на реа... как его там... реу...

— Реактивный, — подсказа́л Алик.

— Угада́л, вну́чек, реактивный, сто четы́ре...

— Мо́жет, ТУ-104? — спросил Алик.

— В то́чку попал. Так он и назывáл. На Сахали́н летáл на нём, вот как.

Нет, это прóсто не вмещáлось у Алика в голóве. Он, конечно, знал от ма́мы, что у неё есть брат лётчик, и да́же хва́стался ребя́там, что дядя Афана́сий обеща́л прокатить его на сверхзвуковой ско́рости. Но дед говори́л что-то несурáзное. Ну хорошо́, ма́ма, пожа́луй, ещё могла́ качаться в этой лю́лке — как-ника́к девчо́нка, — но как мог лежа́ть в ней лётчик лу́чшего в ми́ре реактивного пассажирского корабля́?!

Алик не раз ви́дел, как огромный, серебристый, с откинутыми наза́д кры́льями самолёт пролетáл над го́родом и садился в аэропорту́, а потóм подымáлся и с лёгким свистом уносился в Кита́й.

Ви́дно, дед хоте́л продо́лжить рассказ о сыновья́х и дочеря́х, вышедших из этой лю́лки, но па́па вдруг посмотре́л на ручные часы́ и заторопи́лся, сказа́в, что, е́сли опозда́ет, мо́жет не заста́ть нача́льство стро́йки.

— Иди́, — разреши́л дед, — то́лько верта́йся шибче. У нас тут то́же есть строители... Са́нька вот шофе́рит, вернётся вско́рости, отме́тим прие́зд... Как-ника́к не ка́ждый день заглядываешь в на́шу темноту́ да глушь.

— А я? — испуганно восклицнул Алик, когда па́па откры́л дверь.

— А ты остава́йся. К ве́черу бу́ду.

Мальчик сле́дом за па́пой вышел во двор. Ему́ очень не хоте́лось остава́ться в этой избе́, хотя́ в ней когда-то и вы́рос лётчик «ТУ-104».

— То́лько поскорее́, — захны́кал Алик. Он не привы́к остава́ться один без ма́мы, па́пы и́ли хотя́ бы няни.

— Идёт, — сказа́л па́па и, звякнув калиткой, скры́лся.

Алик в сопровождéнии соба́ки, обходя́ сторо́нкой гусе́й, прошёл в тенёк под навес, где стояло не́сколько полённых берёзовых дров и ко́злы. К стене́ бы́ли прислонены́ пи́ла и ви́лы. Вдыха́я е́дкий за́пах наво́за, Алик стал

бродить под навесом, рассматривая весло с облупившейся краской, обрывок истлевшей сети, бочку, несколько длинных кривых удилиц с металлическими катушками — значит, и здесь, как в Иркутске, ловят рыбу на рулетку? Интересно... Все предметы, лежавшие под навесом, были знакомы мальчику. Впрочем, нет, не все. Что это вон за деревянная штукovina стоит в углу?

Алик присел на корточки, потрогал пальцами штукovину. Крепкая, сухая, вся в трещинах. Рядом лежала толстая ржавая труба с едва заметными насечками по краям. Алик перевернул её и нашёл у закованного конца дырочку.

Сзади раздался шаг, и Алик отпрянул от трубы: ещё подумают чего! Перед ним стоял дед и, улыбаясь, пощипывал бороду:

— С хозяйством знакомимся?

— Знакомлюсь, — пролепетал Алик.

— Ну-ну. А всё понял, что к чему?

— А чего здесь понимать? Что я, весла не видел, что ли...

— Весло-то видел, а вот эту деревяшку, может, и не видел. — Дед показал на ту самую деревянную штукovину. — Знаешь, что это? Вижу, что нет. Откуль тебе знать. Соска это — вот что. Пахали ею. И я пахал, и мой отец, и дед, и прадед... Выищешь, в лесу берёзу поудобней, посуше, вырубешь, обтёшешь, а потом Буланку запряжешь — и в борозду. Спалить бы давно надо, да жаль...

— Не нужно палить, — согласился Алик, присаживаясь на толстую ржавую трубу.

Дед тронул её носком сапога:

— Ну, а это ты знаешь, чего объяснить, — пушка.

— Это пушка? — воскликнул Алик, приподнимаясь с трубы и чувствуя холодок в пальцах.

— Дрянная была, порошу жрала до чёрта... У Колчакá, вишь, артиллерия полковая, ну, а мы эту артилле-

рию придумали... Попартизанила старушка, подымла, попужала... Всё и валяется тут с тех годов.

— Дедушка, а вы были партизаном? — спросил Алик.

— Да чего там... — Дед махнул рукой и присел на козлы. — Проживёшь семь десятков, съешь, как я, зубы — не из того стрелять станешь. Спокою-то в мой годá не было: то японская, то германская, то опосля¹ Колчак объявился. Будешь глазами хлопать — шкуру сдерёт на сапоги. Во вторую-то германскую не тронулся, годы вышли, а сынка-то Андрея взяли. С части отписывали: убило его в Будапеште, могилка у Дуная. Ох, и верный глаз у парня был! Белок за сезон, что шишек натащит; на листе тоже сноровку имел. Баба у него осталась, Анфиска, доярка в колхозе ноне... Ещё молодая была, горячая. Сватались к ней парни. «Уходи, — говорю, — из дому, твой годы ещё не все, детшек колыхать будешь». Да, уговоришь такую! «Никто, — говорит, — кроме² Андрея, не люб мне». Одно слово, баба... Ну, а теперича куда ей, пятый десяток уже пошёл...

Алик сидел на трубе, поджав ноги, и немигающим взглядом смотрел на деда, на его широченную худую грудь, на громадные корявые руки, чем-то напоминавшие соху. Дед говорил с ним о таких взрослых вещах, о которых мама с папой и не заикались при нём. И Алик впервые подумал, что он не так уж мал, стал бы иначе дед рассказывать ему свою жизнь.

И Алик узнал, что совсем ещё недавно эта деревня была глухой, до районного центра вела через тайгу узкая, извилистая дорога, и нередко лошадь, почуяв вблизи медведя или волка, вскидывала голову, храпела и так несла — только с телеги не свались! Никто, даже дедов дед, не помнит, когда заложили деревню, но приезжав-

¹ Опосля (простореч.) — после, позднее.

² Кроме (простореч.) — кроме.

шие из Иркутска учёные по каким-то приметам установили, что первый сруб здесь поставили ссыльные лет триста назад. Пожалуй, это верно, ведь избы в их деревне старые, сохшиеся, чёрные, словно обугленные. Изба, в которой живёт дед, срублена лет двести назад одним топором, без пилы и собрана без единого гвоздя или скобы. Окна в ней крохотные, с резными наличниками, и, когда дед был молод, на них вместо стёкол была натянута коровья брюшина, темно было даже в солнечный день, не то что теперь. Но недолго осталось в ней вековать, в этом прадедовском жилище. Скоро придёт сюда море, и придётся сниматься со старого гнездовья, строить новый дом, высокий, просторный, с широкими окнами, а эту избенку хоть в музей сдавай.

И ещё Алик узнал, что когда-то вокруг были одни леса, и, чтоб отвоевать у тайги клочок земли под поле и огород, приходилось пилить и корчевать лес, взрыхлять землю сохой. Столько было дел и забот — рубаша от пота не просыхала. И продолжалась такая жизнь долго, до тех пор, пока не отгромычала гражданская война, пока не порешили на съезде крестьяне свести всех лошадей в одну конюшню, собрать зерно для посева и работать сообща, назвав свою артель «Вперёд».

Дед рассказывал, как поначалу подсыпали кулаки лошадям в овёс битое стекло и железные опилки, как пытались поджечь амбар с посевным зерном. Дедовы слова вылетали откуда-то из бороды и усов и, казалось, мешали словам: они вылетали хрипловатые, не очень внятные.

Вдруг стукнула калитка, и во дворе появилась невысокая женщина в суконной юбке и кирзовых сапогах. Она ходила, размахивая руками, как мужчина, и в ушах её качались серёжки.

— Заверни-ка сюда, Анфиска, — сказал дед, — знакомься с внуком, пожаловал-таки наконец.

— Нюшкин?

— Её.

И не успел дед договорить, как Алик очутился в сильных, горячих руках.

Потом Анфиса вынула из кармана горсть кедровых орехов и дала Алику.

— Ну, прости, мне пора на дойку, — вздохнула она, — уж вечерком наговоримся с тобой.

— А ты и его бы прихватила, — предложил дед, — по реке чуток покатаётся... Хочешь?

Алик промолчал. Он ничего не мог понять: при чём тут река? Ведь Анфиса идёт на дойку, а он отлично знает, что дойти можно только коров, да ещё, кажется, коз, а никак не хариусов и таймёней¹. Как же это он может покатаётся на реке?

Но, чтоб не попасть в просак, задавать вопросов Алик не стал.

— Хочу.

— Тогда айда! — бросила Анфиса и, размахивая руками, торопливо зашагала на огород.

Мальчик кинулся следом. Они шли по узкой тропке меж грядок с луком и капустой, а потом через заросли картофеля. Конский щавель и лебеда хлестали по голенищам тётиних сапог. Она шла быстро, и мальчик едва поспевал за нею. Штанишки у него были короткие, и всякий раз, когда травы стегали его по голым ногам, он морщился, а когда его обожгло крапивой, Алик чуть не заревел — ведь точно кипятком ошпарило. И, наверно, заревел бы, если б не стыдился Анфисы.

У Ангары было прохладно, хотя солнце ещё не село. Возле самой воды стояли три распряжённые подводы, лошади пощипывали возле них травку. В огромной тёмной лодке, причаленной тут же, белела уйма больших оцинкованных бидонов. За веслами сидели несколько женщин.

— И где тебя нелёгкая носит? — сердито сказала одна. — Полчасá дожидаемся. Ну, полезай в карбас².

¹ Таймёнь — сибирская рыба.

² Карбас — большая лодка с высокими бортами.

— Да я не одна, — сказала Анфиса, — адмирала вам привезла... Ну, дай руку, Алик, а то упадёшь.

Мальчику стало неловко, что с ним обращаются, как с маленьким.

— Ничего... — Алик на животё храбро перевалился через высокий борт карбаса.

— Трогай, бабы! — весело крикнула Анфиса и натужилась, толкая нос лодки.

Ей стали помогать вёслами. Она вошла в воду, резко толкнула карбас и, как лихой кавалерист в седло коня, несущегося на всём скаку, впрыгнула в лодку. Лицо у неё покраснелось, на широких чёрных бровях дрожали капельки воды. Она велела Алику сидеть на корме, а сама побежала на нос — впрочем, как и у всех ангарских лодок, нос и корма у карбаса были острые.

— Веселёй, бабы! — крикнула она с носа, и большие вёсла дружно ударили по воде.

Побежал назад берег, стали уменьшаться лошади, захлюпала, застучала в борту вода. Алик забыл про обожжённые крапивою ноги и холод. Женщины гребли слаженно, ритмично стучали вёсла, карбас так стремительно летел по Ангаре, что мальчик задохнулся от ветра. Вначале сквозь прозрачную воду виднелись галька, тёмные плиты, бурые извивающиеся водоросли, но вскоре вода стала чёрной, точно в колодце.

Чем дальше от берега, тем быстрее течение. С бешеной скоростью неслась вниз река, kloкотала и пенилась, и карбас наперекор течению мчался к зеленевшему впереди берегу. Алик пытался вообразить, что он — храбрый путешественник и открыватель Христофор Колумб, стоит на палубе каравеллы и командует матросами. Но вообразить это было трудно, потому что, во-первых, он не стоял на борту, а сжавшись комочком, сидел на корме, во-вторых, на какой же это каравелле могут быть бидоны для молока, в-третьих, Колумб точно знал, что едет открывать Индию, а Алик весьма смутно представлял,

куда плывёт их карбас по такой сумасшедшей воде. Ну, а в-четвёртых... Какие же это женщины в крестьянских платочках могут находиться на борту корабля, если открытие новых островов и континентов — дело мужское...

Нет, это была не каравелла, это был обычный карбас, и гнали его вперёд самые обыкновенные доярки.

— Ты откуль¹, сынок? — вдруг спросила у него ближайшая женщина.

— Из Иркутска, — сказал Алик, — мой папа главный инженер и приехал на стройку, а я — к бабушке и бабушке.

— Ну, и верно, — сказала женщина, — летом у нас привольно, места красивей не найдёшь.

— Мама говорит, что воздух в деревне полезней сметаны, — отозвался Алик, и все в карбасе почему-то заулыбались, и мальчику стало неловко.

— Точно, — согласилась женщина. — А кто твоё мамка? Не наша?

— Анна Петровна, — ответил мальчик.

— Слушай, Анфиска, — крикнула женщина, — чей он?

— Нюшкин, — донеслось с носа.

— Боже мой!.. А ну-ка, посмотри на меня... Да, что-то есть. Глазёнки как у ней. Так она же, знаешь ли ты, она первейшая моя товарка была, погódки мы, скотину пасли вместе, картошку в золе пекли, по голубицу бегали... А сколько частушек-то перепели! Она тогда ещё девкой была, а нóнче, смотри-ка ты, и носа сюда не кажет...

— А ты чего хочешь, — откликнулась вторая женщина, — у ней и тогда гóрод на уме был: уеду да уеду...

— А что такое погódки? — спросил Алик у первой женщины, слегка обижаясь на неё за то, что она назвала маму девкой и не очень довольна тем, что мама уехала из деревни.

— Родились в один год с ней, в двадцать пятом, значит — вот и погódки...

¹ Откуль — правильно: откуда.

Алик смотрел на эту женщину и никак не мог поверить, что она ровесница маме. Ведь мама совсем ещё молодая: на лице ни морщинки, и лицо у неё белое, чистое, улыбочливое, милое, а у этой оно чёрное, с облезлым от загара носом, иссечённое морщинами, и, кажется, на десять лет она старше мамы.

— Да ты заяб, поди, — вдруг спохватилась женщина, — дрожишь весь.

— Ничего, — ответил Алик, — это я так...

Но не успел он договорить, как женщина, вывернув назад руки, быстро стащила с себя вязаную кофту и накинула её на мальчика. И сразу ему стало тепло и удобно, точно у батареи парового отопления сидел.

От этой женщины он узнал, что они едут на Долгий остров, где хорошее пастбище для колхозных коров. С начала лета перевозят их на остров в карбасах — по пятнадцать голов зараз, там коровы и живут до осени. Туда — с пустыми бидонами, оттуда — с молоком.

— И ни капельки не страшно? — Алик посмотрел в бегущую воду, и у него слегка закружилась голова.

— А чего тут... — засмеялась женщина. — Привычные мы.

У неё, как и у Анфисы, были крепкие, жилистые руки, обветренное, сухощавое лицо. Вёсла она держала легко и цепко, плотно сдвинув пальцы. На правой руке блеснуло серебряное кольцо.

Внезапно где-то внизу по течению ухнул взрыв, и Алик подпрыгнул.

— Скалы рвут, — сказала женщина, — дорогу ведут. Камень там, что железо, только взрывчаткой и возьмишь...

«До чего же здесь всё нелегко! — подумал Алик. — Хочешь дорогу провести — рви скалы, хочешь поесть хлеба — корчуй лес, хочешь молочка попить — гребь через эту протоку по сумасшедшей воде... Не то что в городе: под ногами гладкий асфальт, только ногами двигать не

ленись — сами идут; молока в магазинах хоть залейся — есть и в бутылках, есть и в разлив. Нужен хлеб? Ничего корчевать не надо, подай продавщице чек и получай что душе угодно: чёрный, белый, плюшки, жаворонки, батоны, булки с изюмом...»

— Анфиска, бревно! — вдруг пронзительно вскрикнула одна женщина, и Алик увидел, что на лодку несётся бревно — гигантское, с обрубленными сучьями. Удар — и оно перевернёт карбас. И в то мгновение, когда карбас должен был опрокинуться, на носу мелькнула чья-то тень и метнулась за борт, карбас дернулся, и Алик больно стукнулся зубами о колёнки.

Бревно, вращаясь в воде, пронеслось мимо, а карбас, сильно вильнув в сторону и накренившись, пролетел в метре от него. И тут остолбеневший Алик увидел, как Анфиса, выжимаясь на руках, перебрóсила ноги в карбас и с её левого сапога бежит ручей.

— Окаянное! — выругалась Анфиса. — Кора-то размякла вся, чуть не оскользнулась. Доили бы коров у пресвятой богородицы...

Карбас ткнулся в берег, Анфиса выскочила и, упираясь каблукáми в гальку, подтащила его. Из карбаса, передавая друг другу бидоны, быстро выбрались остальные. Потом Анфиса стянула сапог, вылила из него воду, выкрутила чулок, обулась, и они скрылись за кустами густого тальника, откуда доносилось протяжное мычание...

Возвращались медленней; под тяжестью полных бидонов карбас глубоко осел. Бидоны были тёплые, к ним приятно было прикоснуться. Солнце уже опустилось, и сразу стало как-то тише, таинственней, задумчивей вокруг. Потемнела, густой синевой налилась вода; далеко впереди, на крутом взгорке, избы почти растворились в сумраке, выползавшем из тайги. И она, тайга, угрюмая и враждебная, черневшая за избами, за полóской шоссé, казалось, всё ближе и ближе подступает к Ангарé, чтоб смять шоссé, столкнóуть вниз деревню, захватить поля,

огоробы и сенокосы, вернуть себе всё то, что когда-то отняли у неё люди...

Куда ни глянь — лесá. Окúтанные вечерней дымкой, далёкие, бескрайние и непроходимые, они захлестнули своей грозной мощью весь мир, и только Ангарá с трудом кое-как пробивáлась сквозь них и тускло отсвечивала в клубящихся сумерках вечера. И Алик вдруг впервые почувствовал, как он мал и ничтожен по сравнению с этими людьми.

Вода по-прежнему бешено неслась вниз, заворачиваясь в воронки и вскипая, пенилась у бортов и хотела повернуть карбас носом вниз, унести с собой, разбить о пороги, но мерно и решительно подымались и опускались вёсла, и карбас уверенно и неотступно шёл к берегу...

Погрузив на подводы бидоны, пошли домой. Мальчик совсем продрог, съёжился. Он бежал следом за тётей и едва успевал отбиваться от комаров: они больно жалили лицо, шею, ноги, забивались и оглушительно звенели в ушах, проникали в нос, в глаза.

Первые звёзды мигнули над тайгой, где-то лаяли собаки, до одурения сильно пахло свежим сеном и полынью. Откуда-то спереди, из темноты, наплыли звуки баяна и смех.

— Санька воротился, — сказала Анфиса, пропуская мальчика в калитку, — дядька твой.

Алик так устал от всего виденного и пережитого сегодня, что хотел спать и ничего не ответил.

Переступив порог горницы, он зажмурился — такой яркий свет ударил ему в глаза. За столом, уставленным пирогами, колбасой, ветчиной, пряниками, стаканами, кружками и высоким глиняным жбаном с брагой, сидели папа, дед, бабушка, Надя и ещё какие-то незнакомые люди. Ноги у мальчика словно пристали к полу, но Анфиса подтолкнула его в спину, громко поздоровалась с гостями. И Алик тоже сказал: «Здравствуйте», но голос его прозвучал как-то растерянно, заискивающе. Он подошёл

к столу и, точно связанный по рукам и ногам взглядами незнакомых, устоялся на папу.

— Так вот он какой, ваш богатый! — сказал молодой парень, державший на коленях баян, тряхнул огромной шапкой вьющихся русых волос и медленно развернул баян, наполняя избу волной переливающихся звуков.

Парень так же медленно сложил растянутые мехи, собрав в баян все разлетевшиеся по избе звуки, и, не снимая с рук ремней, сказал:

— Ты, говорят, уже на Долгий остров ездил коров доить?

— Ездил, — ответил Алик, — только я не дошёл. Катался.

— Вот оно что! А вид-то у тебя такой, точно ты один всё стадо выдоил.

— Ну чего ты, Санька, прицепился к мальчонке! — шикнула на него Анфиса.

— Дай с племянком поговорить... Чего ему на коров смотреть, он лучше завтра со мной на ГЭС поедет. Поедешь со мной, а?

Глаза Саньки в упор смотрели на Алика.

— Не знаю, — сказал Алик и опустил глаза.

— А чего тут знать? Я тебя смеником своим оформлю, — продолжал Санька. — Только скорости положенной не превышай и, когда выгружаешь грунт из самсвала, шею не жалей в заднее окошко смотреть, а то так и ухнешься в Ангару? Идёт?

— Ага, — пообещал Алик. — А я сумею?

— Да чего там уметь? Главное, баранку из рук не выпускать да в оба смотреть... Тут такое дело разворачивается, очень рабочая сила нужна. Особенно наш брат, шофёр, ценится...

Санька говорил быстро, сбивчиво, и Алик, хотя и знал, что тот шутит, доверчиво смотрел в горящую синеву его глаз и хотел верить, что и он смог бы работать шофёром, потому что очень нужны люди здесь, на этих местах, где

будет плескаться огромное море, где вырастут города и откуда повезут поезда горы каменного угля и штабеля леса...

— Ну, а раз верно, то спляшем! Выходи первый — я поиграю.

— Я не умею, — сказал Алик.

— Ну, тогда ты поиграй, а я половицы погну... Вот это играни-ка!

И Санык бешено рванул баян, и изба, казалось, качнулась от бури звуков. Но, видя, что мальчик жалко улыбается, глядя на него, Санык передал баян второму дюжему парню, тянувшему брагу из кружки, и, когда тот развел мехи, Саныку словно ветром сдуло с лавки. Он хлопнул ладонью по сапогу и пошел вприсядку, вскидывая ноги выше головы.

— Тише ты, очумелый! — буркнула бабка. — Два года еще, поди, жить-то в избе.

Но Санык не слушал ее. Он откалывал такие колэнца¹, что у Алика голова шла кругом. Он пытался вначале уследить за его ногами, но это было невозможно, потому что они из одного угла избы кидались в другой, подпрыгивали в воздух, заходили одна за другую, сталкивались каблучками и разлетались в стороны. В жбáne плескалась оставшаяся брага, прыгал в лампе фитиль, стол и лавки дрожали мелкой дрожью, и Алик и вправду поверил, что изба может рухнуть от такой пляски. А Санык шел на каблучках вдоль горницы, положив на затылок руку, выделяя ногами черт знает что, его глаза бесшабашной синевы блестели удалю, визовом...

И вдруг Санык, раскинув руки и сдвинув сапоги, замер посреди горницы. Мгновением позже замерла и гармошка. Санык вытер ладонью мокрый, как после тяжелой работы, лоб, подошел к столу, залпом выпил кружку браги, поставил ее на стол и сверкнул глазами:

— Ну, батя, я двинулся.

¹ Откалывал... колэнца — здесь: плясал лихо, задорно.

С лавки поднялись два его приятеля.

— Куда это ты так поздно? — удивился папа Алика.

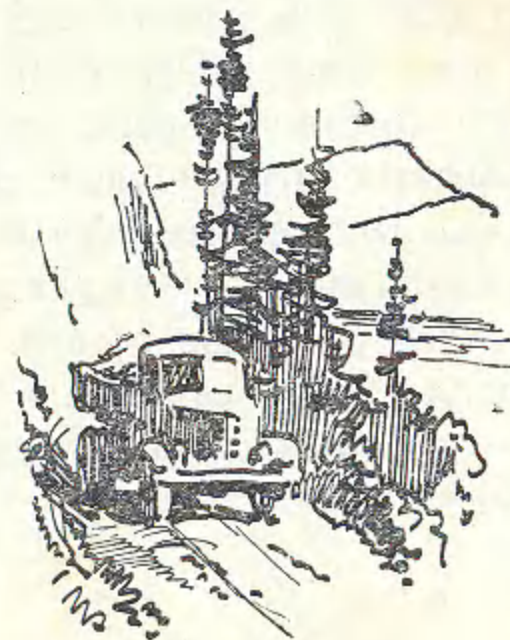
— Приостыть надо, дядя Ваня, — сказал Санык, — на улице сейчас холодок, в самый раз.

Когда Санык с товарищами вышел из избы и их голоса затерялись в ночи, дед посмотрел на черные стекла и вздохнул:

— С первыми петухами теперь зайвится... Три часа спит — и на автобазу...

Утром, когда Алик проснулся, Саныки не было в избе — он, наверно, лихо вел свой верхом груженный самосвал вдоль Ангары. Солнце пробивалось сквозь ситцевые занавески, и на темных бревнах стен уже не шевелились, как дома, сказочно красивые тени райских птиц с пышными хвостами испанские каравеллы со вздутыми парусами, кокосовые пальмы с тропических островов Океании. Пятна еловых лап, отблеск нового моря, тени заводских труб и дыма медленно поплыли по бревнам избы...

Эх, Алик, Алик, девять лет прожил ты на свете, а до сих пор не знал, что вот эти обыкновенные люди, которые упорно корчуют деревья под пашни, пасут стада, собирают и молотят хлеб, бесстрашно гонят по рекам плоты — твоя настоящая родня, что в твоих жилах течет могучая, верная кровь и что земля, где ты живешь, — великая, суровая, трудная земля и что зовется она — Россия!





БЕЛЫЕ БУРУНЫ

На скамье у небольшого деревянного дома сидел дедушка Афанасий, окружённый гурьбой ребят. Всем на скамье места не хватило, и кое-кто из мальчишек уселся прямо на землю и, обхватив руками колени, снизу смотрел на морщинистое лицо дедушки, на его клочковатую сизую бороду. На изрезанной трещинками шее виднелась тесёмка нательного креста. Дедушка сворачивал жёлтыми от махры пальцами сигарку и во всех подробностях рассказывал, как «взял» своего шестого медведя.

Всего за свою жизнь он убил четырнадцать медведей. Четырнадцать грозных косматых зверей. И мальчишки этой окраинной иркутской улицы ловили момент, когда дедушка Афанасий, опираясь рукой о бревенчатую стену дома, выходил погреться на солнце.

— Выследил я эту шубу в Чёрной пади, — говорил дедушка. — Была при мне рогатина, нож да собака Волк, лайка, серая с белыми ушами... Померла теперь, царство ей небесное...

В это время к ним подошёл высокий парень в синем комбинезоне с засученными рукавами.

— Дед, дай закурить, — попросил он.

И тотчас, как только раздался его голос, с земли вскочил один из мальчишек; вскочил, повернулся к нему спиной и зашагал прочь.

— Вы куда это торопитесь, Гавриил Пантелеймонович? — спросил парень, застывшая сигарка.

Но мальчишка — его звали Гаврик — даже не обернулся. Его узкие прыгающие плечи, небрежно ступающие босые ноги и тоненькая шея — всё выражало величайшее презрение к парню в синем, пропахшем керосином комбинезоне. Гаврик скрылся. Все думали, что он ушёл домой или валяется сейчас у себя на огороде. И все ошибались. Гаврик обогнул квартал и с другой стороны, из-за угла дома, наблюдал за ними: скоро ли уйдёт этот парень? Уж очень хотелось дослушать историю про шестого медведя. А этот, в комбинезоне, уже третий месяц отравлял его существование на земле.

А между прочим, этот человек был не кто иной, как его родной брат.

Звали его Валентин, работал он шофёром «на ГЭСе», как говорили в городе, а правильней — на строительстве Иркутской гидроэлектростанции. И был он всего на каких-нибудь пять лет старше Гаврика. Но непроходимой пропастью легли между ними эти пять лет.

У Валентина были весёлые серые глаза с маленькими, острыми, как булавки, зрачками: посмотрит — уколёт.

Ангара — ледяная река. Даже в августе не каждый рискнёт искупаться в ней. Ангара — стремительная река. Как кабардинский скакун, проносится она через город. А Валентин запросто переплывал её. И даже губы не

дрожали от холода, когда вылезал на берег. А вот Гаврик ещё ни разу не вымочил своих трусов в ангарской воде. На Иркут бегал купаться, это верно, — вода там теплая, и в затонах барахтался — тоже верно. А в Ангаре только пальцы ног мочил.

Валентин легко взбирался на самый высокий кедр и швырял оттуда шишки, а Гаврик только подбирал их и щёлкал маленькие коричневые орешки. Валентин в тире три пули подряд сажал одну в другую, а Гаврик только подавал ему патроны. Валентин с маху перепрыгивал высокую изгородь возле их дома, а Гаврик бежал в обход, в калитку.

— Ну, куда ты гóден? — спрашивал Валентин.

Гаврик бормотал что-то насчёт того, что через пять лет и он... Но Валентин обрывал его:

— А я в твои годы уже кое-что умёл...

На улице говорили, что он водит свой огромный грузовый «МАЗ», как лётчик — реактивный истребитель. И ни разу милиция не отнимала у него права. Зарабатывал он раза в два больше отца с матерью. В три месяца трепал новый костюм, и мать, вздыхая, перешивала из него костюм для Гаврика.

И вот его-то, такого человека, у которого были весёлые стремительные глаза, на всю жизнь возненавидел Гаврик.

Случилось всё недавно. Однажды на улице толпа ребят окружила девочку. Она кулаками давила слёзы, косички прыгали на её плечах. Рядом стояла мать и вздрагивающим голосом спрашивала, кто выхватил у её дочери кулек с яблоками, который девочка несла из магазина, — яблоки в этом сибирском городе бывали редко. Все молчали. К толпе подошёл Валентин. Широко расставив ноги и сунув руки в карманы комбинезона, он окинул взглядом ребят и вдруг сказал:

— Эй, Гаврик, посмотри мне в глаза.

Кровь бросилась в лицо Гаврику.

— Где яблоки?

До сих пор Гаврик не может понять, как Валентин догадался. Брат стоял над ним, не вынимая из карманов рук, и внимательно рассматривал его.

— Неси яблоки, — сказал он. — Живо.

Но принести яблоки при всём желании Гаврик не мог. Минуту назад, забравшись в огород, он доел последнее и на две дырочки ослабил ремень. Он вышел на улицу только для того, чтоб отвести от себя подозрения. Тогда Валентин протянул женщине десятку за яблоки, сунул руки в карманы и зашагал домой. Вот и вся история. И этого было достаточно, чтоб испортить Гаврику всю жизнь. Он стоял у забора, и десятки глаз царапали его лицо. И это сделал брат. Родной. При всех. Гаврик здесь же дал клятву порвать с братом. Навсегда. Навек. Вырастет у него седая борода, как у дедушки Афанасия, а с братом — ни слова. Валентина любила вся улица. Валентин обошёлся с ним, как с последним человеком. Из-за кулёк яблок испортил ему жизнь! Играл мальчишки в футбол — редко поставят его в нападение; идут мальчишки на рыбалку в Кузьмиху — могут забыть зайти за ним. И Гаврик возненавидел брата. Он для него больше не существовал. Попросит кто-нибудь позвать Валентина — ноль внимания. А однажды, всплыв, Гаврик сказал матери, что видел Валентина на танцуйках в саду имени Парижской коммуны с соседской Лёнкой. Но мать почему-то не придавала этому никакого значения.

И вот сейчас, повернув кепку козырьком назад, Гаврик выглядывал из-за угла дома, ждал, скоро ли уберётся Валентин. А тот не торопился уходить. Он согнал с лавки двух пацанов, уселся рядом с дедушкой, и они о чём-то заговорили. Наконец Валентин поднялся и, гоня перед собой камешек, ушёл. Он был в отпуске и днём без дела слонялся по городу. Когда Валентин исчез за поворотом, Гаврик повернул кепку козырьком вперёд, вышел из укрытия и ленивой походкой подошёл к скамье. Он не

мог продолжѣть свою жизнь, не узнав о поединке с ѣтим шестым медведем.

— Ерунда, — говорил дѣдушка. — У Ангары звериный норов. Не сломить еѣ!

Гаврик насторожился: о чѣм ѣто они?

— А все-таки еѣ перекроют! — упрямо возразил один мальчишка, Серѣга Каурин. — Днепр перекрыли, и Волгу перекрыли, и Каму перекрыли.

— А Ангарѣ — ѣто Ангарѣ! — повысил голос дѣдушка.

Сколько лет уже весь Иркутск живѣт разговорами об ѣтой стрѣйке! Гаврик ещѣ учился в первом класе, а на берегу реки и на Кузьмixinском ѡстрове уже возносились в небо большущие бурые горы гравия и глины. И Гаврик с мальчишками лазил по ним... И вот оказывается, что в ѣтом мѣсяце перекроют Ангару!

— Перекроют, перекроют! — орѣли мальчишки.

— Дурак ты, дед, — сказал Гаврик и пальцем посту- чал себе по лбу.

Дѣдушка махнул рукой, поднялся, осторожно выпрямился и, держась за стѣну, пошел домой.

— Тебя кто сюда звал? — набросились мальчишки на Гаврика. — Проваливай!

И Гаврик ушел. Кому пожалуешься?

Случилось так, что в день, когда по радио объявили о перекрытии, Гаврик гостил у тѣтки в колхозе, неподалѣку от Иркутска.

Вот угораздило уѣхать в деревню — молочка попѣть и подышать воздухом, когда в городе начинались такие события!

Уже через час после сообщения Гаврик трясся в кузове попутной машины. К вечеру был в Иркутске. Домой не заходил — не хотѣл встречѣть брата, да и времени нѣ было. На ходу взобрался в кузов другой машины и по- нѣсся на стрѣйку.

Уже смеркалось, но стрѣйка была в огнях. Огни горѣ-

ли на здѣнии ГЭС, ещѣ недостроенном, опутанном прутьями арматуры¹ и досками опалубки². Огоньки светились на журавлиных шеях гигантских порталных кранов. Огни пылали на эстакадах³, расплывались, вставали высоким трепетным сиянием. Внизу, через здѣние гидростанции, там, где будут установлены огромные турбины, уже с рѣвом проносилась вода. Она шла новым руслом. Но река ещѣ летѣла и по своему старому руслу, по которому шла тысячи веков. И Гаврик помчался туда, где перекрывали ѣто старое русло. Он пробежал через здѣние гидростанции под громадными арками стоящих на рельсах порталных кранов, он перепрыгивал резиновые кабели, железные трубы, баллоны с газом, похожие на торпеды...

Да и как было не спешить? Ангару могли перекрыть, не дождавшись его.

Когда он увидѣл сверкающую в огнях реку, темную спину понтонного моста⁴, по которому с грозным гулом двигались колонны машин, и вспыхивающие на ветру знамена, Гаврик на минуту остановился, чтобы вобрать в себя всю ѣту красоту. Затем он помчался вниз, к дороге, проложенной от карьеров к мосту.

— Дяденька, возьмите! — заорал он и замахал руками проходившей машине.

Но машина прошла мимо, содрогаясь под тяжестью груза и растирая жерновѣми колес сухую глину. За ней шла вторая машина, прощупывая фарами дорогу.

— Дяденька, дяденька!

Жарким дымом обдавали его одна машина за другой.

¹ Арматура — здесь: оборудование для электрического освещения.

² Опалубка — обшивка досками наружных частей сооружения.

³ Эстакада — здесь: помост для перехода и переѣзда через реку.

⁴ Понтонный мост — плавучий мост.

Шофёры в замасленных пиджаках сидели в кабинках, как императоры на троне, — торжественно, строго, прямо. И, как императоры, они были недоступны и глухи к мольбам мальчишки.

Только изредка какой-нибудь «император» грозил ему грязным кулаком: не вертись под колёсами! Когда уже совсем стемнело и Гаврик потерял всякую надежду проехаться на самосвале, какой-то «МАЗ» наконец остановился перед ним. Дверца откинулась. Гаврик не заставил себя ждать, он вскочил в кабину, со вздохом счастья погрузился в сиденье и повелительно крикнул:

— Езжай!

«МАЗ» тронулся и пошёл, набирая скорость.

— Привёт Гавриилу Пантелеймоновичу! — вдруг прозвучало рядом. — Так-то вы отдыхаете у тети Марфы?

На него смотрели весёлые острые глаза с чёрными, как перец, ёдкими зрачками.

Гаврик нажал на дверцу и уже занёс ногу на подножку, чтобы удрать, но был схвачен за плечо:

— Сиди, сиди, капуста квашеная!

Гаврик грузно сел, туго соображая. Откуда здесь брат? Ведь у него отпуск!.. А что поделаться с клятвой? Вырастет у него седая борода, как у дедушки Афанасия, а с братом — ни слова? Но соображение о том, что больше никто не возьмёт, пересилило все сомнения.

Гаврика бросало на пружинах, он сжал губы и не смотрел на брата. Но, как назло, в переднем стекле виднелось его отражение. Лицо худое, скуластое, мокрое и всё в грязных пятнах. На баранке лежат руки, жилистые, обнажённые выше локтей. На макушке — вихор волос. Изменился брат, и не узнать сразу. И только глаза прежние — весёлые, ёдкие, ненавидящие.

А вот и мост — длинный, узкий, на чёрных баржах-понтонках. А у въезда — милиция. Иркутян вокруг видимо-невидимо. Все хотят на мост, но мост — только для машин. И поэтому у въезда — милиция.

— Прячься! — приказал Валентин.

Широкая рука легла ему на голову, и Гаврик въехал в сиденье, переломился пополам. И вот передние скаты осторожно вкатились на мост. Синим дымом стреляли машины, и этот дым вставал густой завесой, словно на мосту пожар. Задние скаты въехали на мост. Мост задрожал и выгнулся под тяжестью. Кровь отлила от лица Гаврика — кажется, они проваливаются вместе с мостом в Ангару.

Не помня себя, схватился за руку брата. Рука на баранке жёсткая, неподвижная, горячая. А внизу ревёт, клокочет вода, задыхается от бешенства, бьёт в железные баржи. Гаврик прижался к Валентину.

— Слюняй, — усмехнулся Валентин.

Гаврик отшатнулся, захлестнутый обидой.

Брат развернул машину, поставил задом к краю моста. Взлетел флажок сигнальщика, и он включил подъёмник. Кузов пополз вверх. И кузова всей колонны ползли вверх. Машина вздрогнула на тугих скатах. Грохоча и толкаясь, стараясь обогнать друг друга, тяжёлые камни ринулись вниз — вниз, в густую ревущую воду. Вода прыгала, бесновалась, била в понтонки. Мост прогибался, и Гаврику казалось, что мост падает вниз и вместе с ним падает вниз он, Гаврик, и потом мост взлетал вверх и вместе с ним взлетал вверх и Гаврик. И тогда он снова хватался за брата, за ручку дверцы, за баранку — только бы удержаться на сиденье!

Но вот машина взревела, тронулась и, пристроившись к кузову передней, двинулась с моста. И вот они летят по дороге к карьёру. Становятся под ковш экскаватора. Машина прыгнет на скатах — из ковша хлынет камень. Ещё раз... Ещё раз... И машина летит по дороге. И под ней выгибается мост. Валентин опять включает подъёмник. Ангарá кипит и неистовствует. Бросает мост то вверх, то вниз. И они снова мчатся к карьёру, и ковш над ними раскрывает стальную пасть...

Утро. Пёрвые лучи нóвого дня трóнули лёгкие тучки, зажглись на стёклах кабин. Плывёт над землёй плóтный тумán. Рýки Валентина всё ещё лежат на барánке, а Гáврик трясётся на сиденье. Онí ужé вóзят не кáмни: в кúзове ёрзают многотóнные бетонные кубы́, и кáждое их движéние чýвствует Гáврик — вся машинá содрогаётся.

И кубы́ летят с мóста, летят в вóду! Ангарá ревёт и вздуваёт океáнские валы́, Ангарá выворачивает слепящие буруны́ и, как песчинки, швыряет кубы́.

Ты́сячу веко́в неслась она́ э́той доро́гой и ты́сяча пёрвый хóчет нестись по ней. Но лю́ди сказа́ли: хва́тит. Валентин сказа́л, Гáврик сказа́л...

И вот Ангарá грохóчет, лезет на дыбы́, пéнится, бьёт в мост, гóнит буруны́. Вся река́ в бéлых буруна́х. Онí идúт прóтив течéния, игра́ют огро́мными ка́мнями, взрыва́ются...

— Ну что ж, пошуми́, ко́нec бли́зок, — говори́т Валентин Ангарé. — Вёрно, Гаври́л Пантелеймо́нович? — И он ведёт машинáу с мóста за нóвыми кубáми.

Ко́нec бли́зок. Со дна ужé поднимáется банкéт — ка́менная да́мба. Грeбнем торча́т из воды́ се́рые гра́ни кубóв. Вода́ перехлестывает грeбень, сто́нет и грызёт ка́мень. Но ка́мень твёрд. И рýки, броса́вшие э́тот ка́мень, твёрды́.

...Гáврик оста́вил Валентина в гаражé и шёл домо́й оди́н. Часóв пятна́дцать трясся он в кабине́ и отча́янно устáл, и, хотя́ ве́ки отяжелели, а в голове́ по-пре́жнему гудели па́дающие в Ангарú кубы́, но́ги са́ми несли́ его́. У забóра знако́мые мальчи́шки игра́ли в «чи́жика». Онí крича́ли, взвизгивали, спóрили о чём-то. Гáврик да́же не посмотре́л в их сто́рону и неторопли́во прошёл ми́мо. У хле́бного магази́на навстрéчу ему́ попался Серге́га Кау́рин, оди́н из его́ гла́вных недоброжелáтелей. Он на ходу́ кусáл большо́й калáч и уплетáл за обе щеки́. При ви́де Гáврика его́ глаза́ насмешливо сýзились:

— Эй, ты, отку́да?

— Отту́да, — Гáврик небре́жно кивну́л в сто́рону реки́. — Ангарú мы перекрыва́ли, — неохóтно доба́вил он и зевну́л так, слóвно все встреча́ные надо́ели ему́ с рассу́бами.

Тот удивлённо сви́стнул ему́ всле́д:

— То́же, мы паха́ли!

Но Гáврик да́же не удосто́ил его́ отве́том — что там с сопляка́ми объясня́ться! Он устáло сýнул в карма́ны рýки и тяжёлой походкой рабо́чего челове́ка зашага́л да́льше. Да и что ему́ бы́ли тепе́рь все ме́лочи и оби́ды, ему́, смотре́вшему в глаза́ э́тим бешены́м бéлым буруна́м! По́путный ве́тер дул ему́ в спи́ну и раздува́л руба́ху, и в его́ се́рых глаза́х, несмотря́ на устáлость, появи́лось что́-то нóвое — стремите́льное и весёлое, а зрачки́ ста́ли е́дкими, как пéрец.





ДЕД ЛАВРЕНТИЙ

Уж если лезть в огорód, так только к деду Лаврентию. Забравшись к нему, мальчишки совершенно точно знали, что дед дома. Ну и пусть! Что за интерес лезть, если его нет? Рви сколько угодно морковки и редиски, набивай карманы, суй за пазуху... То ли дело ползать по грядкам, зная, что хозяин каждую минуту может выйти из дому! Выдернешь морковку за зелёный хвостик, а у самого под лóжечкой сосёт...

Морковку они выбирали самую крупную. Если по ошибке попадалась мелочь, её выбрасывали. Только один Рудик почти не рвал. Он то и дело вскидывал голову, поглядывая на крыльцо.

— Тс-с-с, — вдруг прошептал он.

Мальчишки вжались в землю. На окне, выходившем в огорód, съехала в сторону ситцевая занавеска, и сквозь редкую зелёную ботву они увидели самого Лаврентия. Потом занавеска задернулась, и Тимка прошептал:

— Погибли...

Дед Лаврентий вышел на крыльцо.

Был он сутуловат, небрит, с диковатыми, глубоко сидящими глазами. Как и большинство стариков посёлка, он носил потрепанный морской китель, только у него он был сильно засален, застёгивался на одну уцелевшую пуговицу, и, когда дед ходил по улице, из-под кителя виднелась белая рубаха. Лаврентий быстро сошёл с крыльца, встал на нижнюю жердь ограды, вытянулся и увидел мальчишечьи спины.

— Так, — сказал он. — Чего разлеглись? Рвите...

Потом достал из нагрудного кармана обтрепанный блокнот и огрызком карандаша что-то записал в нём. Он не кричал, и не стегал их крапивою, и даже не выгонял с огорода, он только аккуратно вписал что-то в блокнот. И мальчишки отлично знали — что. Ох, как до сих пор ноет у Тимки ухо! Чуть не оторвал его тогда отец. А за что? Увидел дед Лаврентий, как Тимка отобрал у рыжей Лёнки шапку подсолнуха, остановился, вытащил этот самый блокнот, что-то занёс в него — и вот пришлось иметь дело с отцом.

Дед спрятал блокнот в карман и пошёл к воротам. Шёл он неспешно, прочно, на всю подошву ставя сапог, и в его позе чувствовалась удовлетворённость. Мальчишки встали и начали отряхиваться от земли. Тимка сплюнул, вытащил из-за пазухи горсть морковки, отобрал самую крупную, вытер о сатиновую рубаху и хотел уже вонзить в неё зубы, но вдруг нахмурился и, заранее ощутив, как будет у него к вечеру гореть и второе ухо, в сердцах швырнул морковку на землю:

— Будь она проклята!

— Вот старая зануда! — прошипел кудлатый Колька.

— А давайте проучим его, — предложил Рудик, — сколько можно терпеть!

— А точнее? — спросил Тимка, и вдруг глаза его загорелись. — Постойте, есть идея!

И он объяснил ребятам: нужно немедленно прокрасться в дом Лаврентия, набрать ведро воды и поставить на полку у двери; от ведра к ручке протянуть верёвку. И вот, когда дед взойдёт на крыльцо и потянет за дверь, на него обрушится ливень.

— Ну как? — спросил Тимка.

— Мало, — сказал Рудик, — этим его не проймёшь.

— На первый раз хватит, — заметил Тимка, — не выбросит после этого блокнотик — придумаем что-нибудь почище.

После этого ребята разошлись по домам, чтобы заpastись верёвкой, молотком и гвоздями. Ведро они решили поискать в сенях у самого дёда.

Когда Тимка летёл вдоль байкальского берега, он увидел у основного причала, где отшвартовался большой пароход «Иван Бабушкин», Лаврентия. Дед стоял к нему спиной, но его трудно было не узнать по сутулым плечам и космам полуседых, нестриженных волос, торчавших из-под фуражки. У Тимки сжались кулаки, и он почувствовал величайшее желание выругаться.

С палубы парохода сгружали бочки, ящики и кули с мукой. Дед стоял на причале, тупо уставившись на грузчиков. Они поодиночке перекачивали по доске тяжёлые бочки с пивом. Доска прогибалась, бочки вертелись и неохотно двигались вперёд. Лица у рабочих блестели от пота, на рубашках темнели мокрые пятна.

— По двое беритесь, по двое! — вдруг крикнул дед резким визгливым голосом.

Грузчики перемигнулись.

— Ты иди, папаша, своей дорогой, иди... Нечего тут командовать, — бросил коренастый парень в синей рубашке.

Диковатые, глубоко сидящие глаза дёда, казалось, ещё глубже западали внутрь. Больше он не сказал ни слова. Он вынул из кармана обтрепанный блокнот, огрызком карандаша записал в него что-то и, не обращая внимания на грузчиков, медленно двинулся дальше.

«Ну до чего же кляузный!» — подумал Тимка, ускоряя шаг. И не он один, а все считали дёда таким. Старуха Анфиса из соседнего дома, так та прямо называла его «тронутым». Почти каждый день торчал дед у Байкала, а когда в бухту приходил ледокол «Ангаря», он садился на перевернутую лодку и часами, буквально часами, смотрел на него, на тонкие, чуть откиннутые назад трубы, на мачты и остроносый стальной корпус. Редкий старик в посёлке не служил в своё время на «Ангаре», и никто не обращал на неё особого внимания, а вот этот дед с приходом её всегда появлялся на берегу, сутулый и небритый, и исподлобья смотрел на «Ангарю». «Ты чего это, батя, забыл на ней? Уж не зазнобу ли?» — спрашивали проходившие мимо моряки. Старик сверлил насмешника серыми глазками и лез в нагрудный карман за блокнотом. «И чего он такой?» — думал Тимка. Живёт в доме один с полуслепой старухой. К другим на праздники приезжают дети с внучатами, вместе ходят в кино, ездят за шишками, катаются с гармошкой по Байкалу, а дед Лаврентий всегда один. Тимка слышал: только скупые, нехорошие люди не имеют детей, а когда доживают до старости, жалуют, что некому их поддержать, помочь, схоронить, вот и становятся они злыми и придирчивыми...

Когда Тимка пришёл домой, его планы расстроила мать.

— Снеси Але завтрак, — сказала она. — Поесть даже не успела.

В другой бы раз Тимка наотрез отказался: очень надо! Пусть не приходит с гулянок в два часа ночи и не просыпается за пять минут до гудка на судовёрфи! Но сегодня перечить матери было рискованно: отец непременно задаст ему трепку за морковку и неплохо, чтоб мать заступилась и облегчила наказание.

— Ну давай, — сказал Тимка, подхватил узелок с бутылкой молока и пирожками, сунул за пазуху молоток и помчался... к дому Лаврентия.

Ребята сидели за чахлым бурьяном и поджидали его.
— Вот вам пирожок, — сказал Тимка (Альке хватит и одного!), — а я сейчас вернусь.

Мальчики разделили пирожок и взялись за работу, а Тимка полетел к судовёрфи. У проходной он помахал перед носом сторожа узелком с едой, и тот пропустил его.

Вот она — верфь! Если попадёшь на неё — навряд ли скоро уйдёшь. Вокруг раскинулись цеха, склады, мастерские. А у берега на стапелях¹ грузно стоит гигантская «Ангарá», вытасенная для ремонта, — тысяча пятьсот пятьдесят тонн водоизмещения! Внизу лежат чёрные кожухи — в них бегать можно — от её труб, тяжёлые якорные цепи и огромный якорь...

Тимка вбежал по дощатым мосткам с набитыми поперёк планками на палубу ледокола и сразу двинулся к корме, где пестрели разноцветные платки девчат-малыаров. И тут только мальчишка заметил, что девчата не стучат, как всегда, молотками, оббивая с борта ржавчину, а молча сидят кружком. Тимка хотел уже было окликнуть Алю, как вдруг осёкся: до него донёсся ненавистный стариковский голос. Мальчишка осторожно высунулся из-за металлической надстройки и тут же спрятался: так и есть! На фальшборте² сидел дед Лаврентий и, приладив на колёнях блокнот, что-то старательно записывал в него. Ветер ерошил космы его седоватых волос, торчавших из-под фуражки, и отгибал полу засаленного кителя.

— Ты что это, папаша, всё пишешь и пишешь, — сказала девушка-малыар с золотыми серьгами, заглядывая в блокнот, — точно писатель какой.

— Не приставай к человеку, — сказал бригадир, пожилой, с прокуренными усами, и, когда дед отошёл от них, добавил потише: — Вы старика не трогайте, у него, можно сказать, право на это есть.

¹ Стапель — наклонный помост для постройки судов и спуска их на воду.

² Фальшборт — выступ борта судна над верхней палубой.

— Какое там право?

— Знала бы, не спрашивала.

В это время зычно прогудел заводской гудок, бригадир крикнул: «Перекур!» — и девчата засмеялись, потому что в бригаде не было ни одного мужчины, а бригадир никак не мог привыкнуть к этому.

Видя, что дед Лаврентия рядом нет, Тимка вышел из-под надстройки и подошёл к бригадиру.

— Дяденька, а какое у него право? — спросил он.

— Это у кого?

— А у дед Лаврентия.

— Какое право, спрашиваешь? — Бригадир достал из кармана смятую пачку «Беломора», глубоко затянулся, сказал одной из девчат: — Подвинься-ка! — и смерил Тимку взглядом с головы до ног. — Тебе сколько лет-то? Двенадцать? Мне в ту пору было, пожалуй, побольше. Уже винтовку в руках держал. Да, давно это было...

Тимка присел на корточки; бригадир, кажется, собирался рассказать что-то интересное...

— Давно это было. «Ангарá» стояла в порту Байкал, и вдруг по кораблю разнёсся слух: колчаковцы, отступая из Иркутска, привезли на ледокол заложников, большевиков, тридцать одного человека. Подали колчаковцы команду — подымать пары. Ослушаешься — свинец в затылок. Взялись кочегары за лопаты, швыряют в топку уголь. Пламя, как в аду: клокочет, глаза да зубы блестят. Вдруг слышат толчок: от стенки отвалили. Швыряют уголь, а у самих душа не на месте. Не торопятся топку загружать. Что-то недоброе затеяли колчаковцы, но попробуй догадайся — что? Разболелась у Лаврентия голова — он тоже кочегаром был, — жар виски ломит. «Дай, — подумал, — выйду, воздуха свежего хвачу».

Вышел Лаврентий из кочегарки и видит: вдоль бортов и на корме колчаковцы стоят с винтовками в руках — белые папахи, башлыки крест-накрест. Мороз жжёт, аж ноздри слипаются. Выводят двое солдат из трюма босого,

в галифё и дра́ной натёльной рубáхе челове́ка со скру́ченными за спиной рука́ми. Подвели́ к корме́, пригну́ли го́лову. Оди́н красноро́жий верзи́ла уда́рил его́ с разма́ху по заты́лку деревя́нной колоту́шкой — бы́ли такие на су́дне, чтоб намёрзший лёд с ко́рпуса оббива́ть. Уда́рил — и нет челове́ка. Дво́е подхвати́ли его́ за́ ноги — и за́ бо́рт.

А сза́ди дымил «Кругобайка́лец», ломал лёд, топтал сбро́шенные тру́пы, чтоб ни одно́го не оста́лось на льду. На корме́ ско́льзко от кро́ви, в кучу сва́лены пальто́, беке́ши¹, сапоги́ и тужу́рки. Оди́н колча́ковец де́ржит под мы́шкой хро́мовые сапоги́, из карма́на друго́го торчи́т сви́тер... Переступа́ют с ноги́ на́ ногу, ду́ют в ва́режки, ёжятся.

Сла́бо све́тит луна́, блестит́ и́ней на шты́ках и затво́рах, круты́е со́пки сму́тно белёют в темноте́. Отчётливо слы́шно, как хрусти́т, прола́мываясь, лёд, как тяжело́ вздыха́ет маши́на. Вот что тут де́лается, а они́ ниче́го не зна́ют! Ох и разобрáло здесь Лавренти́я... Вы́шел чи́стым во́здухом подыша́ть, а сам стои́т и зады́хается — во́здуха не хвата́ет, всё горит́ внут́ри, сло́вно швырну́ли его́ само́го на лопа́те в о́гненную то́пку...

Ви́дит — ещё́ одно́го выво́дят: босой́, в бе́лой рубáхе с растёрзанным во́ротом. Посмотрёл Лавренти́й на него́ — и пра́мо ду́рно ста́ло: Ми́шка, старшо́й его́ сын... Лицо́ худбе́е, че́рное, глаза́ ввали́лись, ще́ки и ше́я в синя́ках и кровоподте́ках, губы́ опу́хли. А Лавренти́й стои́т как деревя́нный и себя́ не чу́вствует. То́лько губы́ шепчу́т: «Го́споди, е́сли ты е́сть на небе́, как ты мо́жешь смотре́ть на это́?» И кровь́ сло́вно уходи́т из те́ла, голова́ кру́жится.

Кри́кнул Лавренти́й что́-то, бро́сился к сы́ну, да шты́ки́ в грудь́ упёрлись. Схвати́ли его́, оттащи́ли, ору́т: «Вме́сте с ним хо́чешь? А ну, наза́д!»

Смерть́ сдавила́ дыха́ние Лавренти́я, но́ги приме́рзли к па́лубе, в голове́ чугу́нный звон то́ приближа́ется, то́ уходи́т... Слы́шит, колотят́ его́ в живо́т и спи́ну, но бо́ли

¹ Беке́ша — старинное долгопóлое пальто́.

не чу́вствует. И вдруг ви́дит: Михайл как рванётся, тресну́ли верёвки, охра́нники разлетели́сь по па́лубе, винто́вки загремели́ о желе́зо. Он садану́л одно́го ного́й в лицо́ да то́лку-то́ что — босой́...

«Га́ды! — захрипел́ он. — Нас три́дцать оди́н, а вас со́тни... Убива́йте нас, бе́йте... Все́ равно́ наро́д победит́!.. А вы... вы...»

Навали́лись на него́ колча́ковцы, заломили́ ру́ки, рот портя́нкой заткну́ли, колотят́ приклада́ми, пиха́ют сапога́ми в живо́т, подво́дят к корме́. Он мота́ет голово́й, ве́тер во́лосы еро́шит, броса́ет на глаза́. Пригну́ли его́ к фальшбо́рту. «Живе́й!» — крича́т палачу́, и тот уже́ колоту́шку подыма́ет.

«Наро́д не осили́шь... На́ша возьме́т!» — донесли́сь до Лавренти́я глухие́, заду́шенные слова́.

Что бы́ло да́льше — он не по́мнил. Как во сне слы́шал — та́шат куда́-то, пото́м швыря́ют, и он полетел́ вниз, счита́я голово́й желе́зные ступе́ньки тра́па. Очну́лся то́лько тогда́, когда́ ребята́ вы́лили на́ голову́ ведро́ воды́.

«Что тако́е?» — спроси́ли они́.

«Сы́на, сы́на моего́ то́лько что... колоту́шкой... по голове́...»

Вот здесь́ это́ бы́ло, — ко́нчил бригади́р. — Отсю́да выводи́ли, здесь ста́вили и сбрасывали́ вон туда́... В Ирку́тском музе́е колоту́шка хранит́ся... — в музе́е-то быва́л? — волоски́ нали́пшие видны́. Оста́лись с той но́чи...

Ста́ло о́чень ти́хо. Не́сколько девча́т, забы́вших про обе́д, молча́ли, и по Ти́мкиному те́лу пробежа́ла ледяна́я дрожь.

— И это́ бы́ло на «Анга́ре»? — спроси́л он.

— А то где же? Эх ты, такие́ ве́щи знать на́до.

— А пото́м? — спроси́ла одна́ из девча́т.

— Потом́? Партиза́нить ушли́ мы пото́м с Лавренти́ем... Ох, как ненави́сть к душе́ прикипе́ла. Прикипе́ла и

не отпускала, пока последнего беляка не порешили. Громил их — рука ни разу не дрогнула, а ты спрашиваешь, откуда право?

Тимка, холодея, сидел на корточках, и перед его глазами дрожали и расплывались девчата, и рыжеусый бригадир, и палуба ледокола. И вдруг, как раскалённым гвоздём, его прожгла мысль: ведро с водой!

Тимка стал потихоньку отступать от надстройки. Чтоб не спускаться по открытым мосткам, нырнул в люк какого-то трюма, по шаткому трапу спустился в каюту, толкнул ржавую дверь и побежал по коридору. Добрался до отверстия, где с корпуса был сорван стальной лист, и вылез наружу. Сжимая в руке узелок с Алиным завтраком, пронёсся по улице.

— Проваливайте! — крикнул он, подбегая к дому дёда Лаврентия, и, не глядя на изумлённые лица ребят, снял ведро с водой и обрезал ножом верёвку...

Тимка шёл домой по центральной улице. Ярко светило солнце, облака медленно плыли на Иркутск, и с моря тянул прохладный ветер. С верфи долетал стук молотков, упрямый и жаркий, сухо трещала электросварка, и устало ухал в кузнице молот. Тимка шёл вдоль моря и чувствовал странную лёгкость на сердце. Проходя возле причала, где ещё стоял «Иван Бабушкин», Тимка вдруг увидел, что грузчики по двое скатывают бочки и они уже не крутятся и не скользят по доске. «Значит, и здесь узнали, кто такой дед Лаврентий», — подумал Тимка и зашагал домой.



БЕРБЕРИЙСКИЙ ЛЕВ

В конце июля в город впервые после войны приехал областной цирк. На столбах, заборах и стенах домов появились пёстрые афиши, и возле ярко размалёванного фокусника, тянувшего изо рта бесконечно длинную ленту, толпились ребята и взрослые.

Проходя мимо цирка, Жёня Зайцев подолгу останавливался и с завистью глядел на счастливых, покупающих билеты. А когда на стенах появилась новая афиша, ещё мокрая от клея, Жёня просто потерял покой.

Могучий жёлтый лев с густой спутанной гривой, широко открыв зубастую пасть, готов был броситься на всякого, кто останавливался у афиши. А рядом с ним спокойно стояла высокая тонкая женщина в чёрном платье и с улыбкой смотрела на хищника. Сжимая в правой руке хлыст, левой она добродушно трепала его гриву. «Укротительница львов Ирина Заберёжная», — было написано внизу.

Правда, Жёня уже был один раз в цирке, но с сегодняшнего дня цирк выступал с новой программой, а мать денег на билет больше не давала. В учебное время можно сэкономить на завтраках, но сейчас были каникулы.

Жёня постоял, повздыхал и уже собрался было уходить, но вдруг кто-то тронул его за плечо. Перед ним стоял Савва Глухарёв.

— Здорово, — лениво сказал он.

— Здорово, — ответил Жёня.

— Сила! — Савва кивнул на льва.

— А почему раньше его не показывали?

— В дороге простудился, занемог. А теперь выздоровел. Лев берберийский, на весь мир знаменитый. Не слышал?

— Нет. А как ты проходишь — прорываешься или через запасной вход?

— Что я, гаврик какой-нибудь? Слава богу, вышел из того возраста.

— Значит, по контрамарке?

Савва только присвистнул:

— Не ерунди!

С минуты они постояли молча.

Жёня пощупал в кармане гривенник — всё, что у него было, и вдруг сказал:

— Жарница какая! Водички не хочешь?

— Это можно, — позёывая, ответил Савва.

И мальчишки пошли к перекрёстку, где под полотняным навесом стояла тележка с водой.

— Два стакана чистой, — Жёня положил монету в лужицу воды на тележке.

Савва ухмыльнулся краешком губ.

— Прошу с сиропом, — сказал он, — с удвоенной порцией. — Он протянул продавщице новенькую хрустящую трёхрублёвку. — Убери свою мелочь.

Жёня опустил в карман мокрый гривенник и, чтобы скрыть неловкость, отошёл в сторону.

— Так как же ты проходишь? — спросил Жёня, когда они выпили шипучей воды и отошли.

— «Как, как!» Что ты пристал ко мне? Подхожу к кассе, беру билет, подаю контролёру... Вот так и прохожу.

Жёня ничего не ответил. Он только пощупал в кармане гривенник и посмотрел куда-то мимо Саввы: что поделаешь, везёт человеку!

— Если хочешь, могу и тебя провести.

— Ты всерьёз?

— Глухарёв не любит трепаться¹, запомни.

— А когда? — не особенно веря, спросил Жёня. — Сегодня?

— Завтра.

— А где встретимся? Возле цирка?

Савва ничего не сказал, взял Жёню под руку, привёл в небольшой скверик и усадил на скамейку.

— Завтра в пять утра придёшь на Двиную. В кустах возле домика бакенщика. Ясно?

— Ага, — ничего не понял Жёня.

— На месте всё объясню. И чтоб не трепаться никому. Ясно? Могила. А вечером в цирк с тобой сходим. Ну, я пошёл. Гуд бай.

Савва встал, стряхнул пылинку с чёрных, хорошо выглаженных брюк, кивнул ему и зашагал через скверик на центральную улицу, а Жёня остался сидеть.

Ничего делать в этот день Жёня не мог. Рассеянность его даже мать заметила — во время ужина он стал вилкой размешивать кусочки сахара в стакане.

Укладываясь в постель, Жёня очень боялся проспать. Уйти решил тайком. После как-нибудь оправдается — скажет, на рыбалку с дядей Васей ходил.

Жёня укрылся одеялом, зажмурил глаза, и сразу же из темноты выплыла арена цирка. Весёлые лошадки, всхрапывая, звенели колокольчиками на сбруе, клоуны как

¹ Трепаться (вульгарное) — болтать, говорить попусту.

угорелый убежал от них, фокусник, сверкая разноцветными камнями на черном костюме, размахивал палочкой. Потом свет погас, и в темноте один за другим взлетали горящие факелы — выступал жонглер...

После каждого номера Жёня вскакивал с кровати и бесшумно подходил к будильнику, который стоял на широком, как слоновья спина, буфете.

Словом, спать в эту ночь не пришлось...

Осторожно прихлопнув на французский замок дверь, Жёня зашагал по спящему городу к реке. Солнце взошло недавно и ещё не успело нагреть воздух. На улицах — ни души. Одни только дворники поливают тротуары, и длинные чёрные шланги, как индийские удавы, шевелятся на асфальте. Вozчки в высоких фургонах развzят по булочным хлеб утренней выпечки, и в воздухе вкусно пахнет поджаренной корочкой.

Жёня сглотнул слюну и прибавил шагу.

Возле Двины стало ещё свежее. С реки дул влажный, колючий ветерок, и по воде пробегала мелкая рябь, похожая на гусиную кожу.

По крутой тропке Жёня спустился к домику бакенщика. Сандалии мягко вьзли в сыром от росы песке. В густом ивняке его уже дожидался Савва. Обхватив руками колени, он сидел с папиросой в зубах на валуне и глядел на Двину. Тонкими голубыми ниточками дым отвязывался от папиросы, расходился и таял в воздухе.

Жёня поздоровался и присел на корточки рядом. Савва короткими затяжками докурил папиросу до золотых букв на мундштукe, бросил окурок на землю и каблукoм вдавил в песок. Потом сплюнул сквозь зубы — плевoк пролетел метра три.

— Пришел точно, — сказал Савва, глянув на ручные часыки «Победа».

Жёня тоже глянул: часы были с золотыми стрелками и показывали ровно пять часов и пять минут.

— Значит, вот, — продолжал Савва. — Дело проще

пареной репы. Вчера вечером я поставил на плотaх несколько переметов. Крупная рыба идет только ночью. Ставил, сам понимаешь, тайком, чтоб никто не заметил. А то немало есть воруg: увидят — и прощай перемет! А он-то денежки стоит! Одногo шнура метров двадцать. А поводки с крючками? Совести нет у людей!

Жёня слушал не моргнув глазом.

— Один я, сам понимаешь, не успеваю просматривать все три перемета. Часов в семь приезжают вozчки за дровами: приходится торопиться, чтоб не увидели. Так вот ты мне поможешь. Твой перемет стоит вон там. Видишь? — Савва показал рукой.

— Вижу, — ответил Жёня.

Савва добавил, что действовать надо быстро. Сняв рыбу, перемет нужно снова опустить в воду — ночью Савва сам наживит на крючки червей.

— Рыбу наденешь на это, — закончил Савва и дал Жёне две палочки с накрученной на них веревочкой. — Ступай.

Савва быстро пошел по берегу к самому дальнему плоту.

Вначале Жёня забрался на ближний плот. Концы бревен были накрепко прикручены ивовыми и березовыми прутьями к длинным жердям. С этого плотa Жёня перешел на второй, с шалашом. Добравшись до края, оглянулся и присел на корточки. Чтоб не замочить рукава курточки, он отстегнул пуговицы на манжетах и до самых плеч закатал рукава. Потом прилег, опустил руки в воду и стал шарить по срезу толстых, скользких бревен.

Есть! Его пальцы коснулись туго натянутой веревки. Жёня стал торопливо выбирать её и скоро увидел темно-бурый кирпич. От веревки отходил витой плотный шнур перемета. Опустив груз на плот, Жёня потянул за шнур — тот резко дернулся, и по телу мальчика пробежала дрожь, словно сквозь шнур был пропущен ток.

Рыба! Жёня уверенней потянул к себе снасть. Чем

ближе подтягивал он перемёт, тем сильней сопротивлялась рыба. Жёня не заметил, как прохладные капли по рукам катились под рубашу, как с плеча съехал закатанный рукав и намок в воде. Чтобы перемёт не запутался, он, выбирая, аккуратно раскладывал его на краю плота.

На одних поводках висели пустые крючки, на других — черви были оборваны до самого жала, а на третьих...

Вот в глубине жарко блеснуло что-то, и Жёня рывком выбросил рыбу на плот. Крупный красноперый язь яростно работал хвостом, то открывая, то закрывая маленький, косо поставленный рот. Жёня придавил язя коленом к бревну и стал торопливо выбирать оставшийся шнур. Минут через пять он опустил снасть в воду и побежал к берегу. На его снизке¹ болтались два больших язя и три окуня.

Савва тоже пришёл с богатым уловом. Прикинув на вес Жёнину снизку, он прикусил верхнюю губу:

— Килограммчика два будет. Ну, теперь можешь идти досыпать. — Савва заправил рубашу под флотский ремён, потом вынул из кармана папиросу, отвернулся от ветра, разжёг в ладонях спичку и глубоко затянулся. — И чтоб никому. Ясно? Видал, какие рыбные места. А то другие повадятся.

— Хорошо, а когда...

— Ровно в семь тридцать у кассы, — перебил Савва, и вдруг он дернул Жёню за руку и упал: — Ложись!

Сутулый старик в овчинном полушубке, с удочками и сачком в руках медленно спускался к реке.

— Ползи за мной! — прошипел Савва.

Старик взобрался на плот и неуверенно пошёл по неустойчивым брёвнам.

— Ползи, кому говорю! — громко зашептал Савва и пнул приятеля ногой. — Или не хочешь на льва пойти?

¹ Снизка — бечёвка или пруг с нанизанной пойманной рыбой.

Но Жёня не двигался и ждал, что будет делать старик. Старик подошёл к тому месту, где только что был Жёня, положил на брёвна сачок, удочки и ведёрко. Потом снял полушубок, засучил рукава рубашки, опустил в воду руку и стал за верёвку вытаскивать кирпич. Жёня смотрел на старика.

Вот он выбрал пустую снасть, утёр усы, вынул из противогазной сумки консервную банку и принялся надевать на крючки червей. Погрузив кирпич на дно, он вымыл руки, вытер их о полушубок и уселся на жердь. Потом достал кисет. Но сигарку почему-то не крутил, а неподвижно сидел на краю плота и задумчиво смотрел на реку.

Солнце уже поднялось довольно высоко. За Двиной протяжно, на разные голоса закричали заводы, напоминая людям, что рабочий день наступил. На пристани раздавался женский смех.

А старик всё сидел в той же позе и неподвижно смотрел на холодную воду.

Жёня обернулся к Савве.

— Ну, чего как рак глаза выпучил? — недобро спросил Савва. — Струсил?

Жёня ничего не ответил. Он поднялся и побежал прочь. Он бежал по узкой, мокрой от росы тропинке, по ногам хлестали тяжёлые ветки кустарников, а спину жёг печальный стариковский взгляд. Ему уже было всё равно, что он не попадёт в цирк, о котором мечтал, и не увидит знаменитого берберийского льва.





ТВОЯ АНТАРКТИДА

В подъезде большого дома стояли трое ребят и смотрели, как во дворе шумит ливень. Ливень был такой сильный, что земля, казалось, кипела от него, а тротуар, о который он вдрызг разбивался, дымился белой пылью. Вода осатанело клокотала в водосточной трубе, яростно выхлестывала наружу и мутным, пенным ручьем бежала вдоль тротуара.

Иногда брызги долетали до ребят, и тогда старший из них, Игорь, недовольно морщил переносицу и отодвигался назад. Вторым мальчик, Серёжка, смотрел на ливень неподвижными испуганными глазами — он никогда ещё не видел такого сильного дождя. И только Алёша, синеглазый и тонконогий, в сандалиях и белых носочках, был рад.

— Лёт, как тропический! — кричал он, заглушая плеск ливня. — Как в Африке! Ся там деревья ломает и хижины сносит. И обезьянкам ся него спасения нет... А зато крокодилы... ну и рады!..

Алёша подался вперёд, и на его аккуратной матроске с отложным воротником и шитыми золотом якорями заблестели крупные капли.

— Побёгаем по дождю? Побёгаем, а? — нетерпеливо топтался он у двери.

— Это с какой целью? — холодно спросил Игорь.

— А ни с какой — просто так!

— Ну и беги, промокай на здоровье.

Алёша насупился. Но это продолжалось одну секунду. Не было ещё такого слова на земле, которое могло бы погасить его азарт. Не хочет Игорь — и не надо! Зато Серёжка, наверно, согласится: он ещё не такой большой и не такой надутый, чтоб не захотеть побегать под ливнем.

Алёша повернул к ребятам круглое, обрызганное дождем лицо с отчаянно горящими глазами:

— Серёжка, бежим!

Игорь с Серёжкой о чём-то зашептались.

— Ладно, — громко согласился Игорь, — только вместе. Слушай мою команду: раз, два...

Алёша весь напрягся.

— Три!..

Алёша стремительно прыгнул в ливень. Со всех сторон его сразу окатило водой, словно он прыгнул в реку. Струи бешено хлестали по лицу, по плечам, стекали по спине и ногам, ручьями сбегали с рук.

Но что это такое? Приятели по-прежнему стоят в подъезде. Неужели струсили?

Алёша стал неистово плясать на асфальте, чтоб разжечь и выгнать из подъезда своих робких и вялых приятелей. Он шлёпал себя по обвисшей тёмной курточке, хлопал в ладоши и пронзительно визжал. Но ребята ни

на сантиметр не высунулись из двери. Тогда Алёша влетел в подъезд:

— Струсил?

— Уйди, мокрая крыса! — зашипел Игорь.

Оба приятеля шаркнулись от него в глубь подъезда и, хватаясь за животы, вызываясь громко рассмеялись и побежали вверх по лестнице.

— Предатели! — закричал Алёша с горечью, отжимая матроску и штаны. — У, подлые!..

На улице стало смеркаться. Приближался вечер.

Обычно в это время из квартиры выскакивала няня Надька, толстощёкая девушка с рыжими косицами, и, размахивая алюминиевой поварешкой, оглашала двор зычным голосом:

— Алё-ёша! Вече-рять!

Чаще всего Алёша, тяжело сопя, боролся с другими ребятами или бесстрашно прыгал с помойки в песок — а ну, кто дальше! Надьке приходилось гоняться за ним, хватать за руку и силой тащить в подъезд.

Но сегодня няню отпустили на выходной день в деревню, и за Алёшей никто не шёл. Идти домой самому очень непривычно, но что поделаешь... Алёша глубоко вздохнул: надо — не будешь же до ночи торчать один в этом тёмном, скучном подъезде. К тому же, честно говоря, не так уж приятно чувствуешь себя в мокрой одежде: штаны липнут к ногам, матроска плотно пристала к животу и спине, в сандалиях чавкает вода. Холодно! Зубы так и выбивают мелкую дробь...

Алёша медленно поднимался по лестнице, оставляя на ступеньках мокрые следы сандалий. Он обдумывал, что бы такое сказать матери. Может, сказать, что ливень застал по дороге к Витальке и укрыться было нигде? Так он и скажет.

Дверь оказалась незапертой, и Алёша, легонько толкнув её, вошёл в переднюю, где стоял белый, дышащий морозом холодильник и на лосиных рогах висели

пальто и серая шляпа отца. Алёша осторожно прикрыл за собой дверь и стал прислушиваться. Из глубины квартиры доносился чей-то незнакомый, резкий голос:

— О нас ты не думаешь, о себе бы хоть подумал!.. Ах, оставь, я всё это знаю...

Алёша так и застыл с полуоткрытым ртом. Кто это? Неужели мама? Конечно, мама! Она говорила быстро и сердито. Голос её дрожал, и она глотала кончики слов. Наверно, что-то случилось. Таким тоном мама никогда ещё не говорила. Голос у мамы всегда был спокойный, певучий. А теперь Алёше даже трудно было представить её лицо. И вообще мама мягкая и неврédная, не то что эта толстощёкая, крикливая Надька.

Дома мама бесшумно ходит в ковровых туфлях с красными помпоницами, в блестящем шелковом халате, на котором вышиты павлины с золотыми хвостами и зелёные пальмы. Целыми днями мама сидит на широкой тахте, поджав ноги, и читает какие-то книги в кожаных переплётах с рассыпающимися пожелтевшими страницами. Иногда мама даже выходит на кухню к Надьке со страничкой в руке: пробует суп и одновременно читает — вот, видно, интересно! Однажды Алёша нашёл в передней одну такую потерянную мамой страничку, но она, как назло, оказалась неинтересной — про какую-то замирающую от тоски грудь и поцелуи. Алёше даже неловко было давать маме эту страничку — ещё подумает, что нарочно стащил. И Алёша незаметно водворил её на место. Но остальные, наверно, интересные!

А на тонком столике у маминой кровати столько разных коробочек, флакончиков, баночек и трубочек — нужно полдня, чтоб все их открыть, посмотреть, перебрать...

Когда Алёша проходит с мамой по двору, соседки почти всегда говорят одно и то же: у такой молодой мамы такой большой сын. Что он большой, это верно, и спорить здесь не приходится, но почему мама молодая? Ведь ей уже двадцать восемь лет! А если говорить про отца,

так он совсѣм старик — ему́ тридцать три! И, е́сли б он не брился через день, его́ бородой́ можно́ было бы подпоясаться, да ещё кончик остался бы, чтобы с котом поиграть. Но иногда сосѣдки говорят просто возмутительные вещи: «Ах, какой у вас, Елена, сын!.. Красавчик!.. Прелесть, а не мальчик! А какие у него ресницы — пушистые, длинные, чёрные, а кудряшки белые... Девочке бы они́ достались — на всю жизнь была бы счастливая...»

Уж это было слишком. Алёша вырывался из рук матери, убежал за сарай. Он с остервенением ерошил волосы, зелёной травой натирал лицо. Затем он решил выдергать все до одной ресницы. Штуки три вырвал, но это оказалось больно, и он махнул рукой: пусть остаются девчоночьи ресницы, и с ними как-нибудь проживёт. Ведь сам-то он, чёрт побери, мужчина!

Когда Алёша приходил домой и показывал оторванную подошву, мама никогда не ругалась, а только удивленно спрашивала, обо что это он так саданул ногой¹. Затем немедленно посылала Надьку в обувной магазин, и снова консервным банкам и кирпичам, заменявшим мяч, приходилось туго.

Да, мама у него хорошая и очень красивая, и в кино таких не встретишь! И живётся ей очень весело. Даже без отца не скучает. Подойдёт иногда к приёмнику, покрутит ручки, поймает танцевальную музыку, потом блеснёт глазами, щёлкнет пальцами и одна закружится по комнате, придерживая рукой разлетающиеся полы халата; затем притопнет каблуком и громко-громко рассмеётся, встряхивая золотистыми локонами. Ну совсем как девочка! А когда ей не нравится Надькин суп, скривит губы, сморщит нос — ну точь-в-точь как семилетняя Ирочка из соседней квартиры!

Если б не проклятая Надька, которая четыре раза в день уволкивает Алёшу в дом, жизнь у него была бы совсем беззаботная.

¹ Саданул (садануть) ногой — здесь: ушиб ногу.

Отец дома бывал редко. Он то надолго уезжал в дальние экспедиции, то пропадал в университете, где читал студентам лекции. Когда он приходил домой, мама сразу оживлялась, веселела, оставляла свои книги с рассыпающимися листками и, как капитан океанского корабля, отдавала приказанья Надьке разогреть суп и подать жареного цыплёнка в соусе. После обеда мама любила поиграть на рояле. Отец, погрузившись в глубокое квадратное кресло, слушал её и курил трубку, и синий дым иногда заволакивал его большое худощавое лицо.

Он внимательно и неподвижно смотрел на маму, а она на него, не переставая играть, потому что её тонкие белые пальцы сами знали, на какую клавишу надо нажать. Её плечи вздрагивали в такт ударам рук, а губы едва заметно улыбались. И лицо её, чуть запрокинутое назад, становилось мечтательным, мягким и каким-то светлым, и от улыбки виднелись блестящие краешки зубов.

— Ну как? — спрашивала она у отца.

— Хорошо, — задумчиво отвечал отец.

И Алёша понимал, что это относится не к её игре, а к тому, что вообще славно жить на свете. Славно и очень интересно.

Очень любил Алёша и отца, но любил его по-другому, как мужчина мужчину. Отец — путешественник и исследователь, и Алёше приятно слушать, с каким почтением разговаривают с ним студенты, заходя иногда по разным делам на квартиру. Но отец не всегда бывает строгим и задумчивым. До чего забавно после обеда побаловаться с ним или побегать по ковровым дорожкам из одной комнаты в другую, а из другой — в третью, и тайком от Надьки — отец только посмеётся! — накататься на скрипучей двери. А книги! Сколько у отца интереснейших книг про путешествия!

Только один раз мама говорила с отцом не очень

ласково. Алёша тогда сделал вид, что ничего не замечает, и, уткнувшись в стол, рисовал на листке перекидного календаря атомный самолёт, а мама недовольно ходила по комнате, и у неё от резких движений развевались полы халата и волосы. Это случилось два года назад, когда они въехали в большую квартиру и отец увещал стены соседней с кабинетом комнаты разными картами. Были тут и старые, невзрачные, очень потёртые карты, подклеенные во многих местах, но были и очень красивые, блестящие голубизной огромных океанов и морей, синими жёлками рек.

— Ты извини меня, — говорила тогда мама, чуть повысив голос, — но ведь это, в конце концов, неэстетично. Гостей будет стыдно. Словно у нас не хватает средств купить хорошие картины... Ведь не аудитория же здесь, а жилая квартира. А если ты думаешь, что они придадут кабинету уют...

— Лёна, как ты не хочешь понять, — спокойно отвечал отец. — Ведь это мои рабочие карты, а не безделушки для украшения.

Отец говорил правду. Многие карты побывали с ним в экспедициях, и на них красным карандашом были отмечены маршруты. По этим картам Алёша учил азбуку. Он знал, что пятно, смахивавшее на брюкву, — Африка, та самая, в которой водятся жирафы и крокодилы, что земля, похожая на сапог, — Италия. Но это Алёша узнал ещё в позапрошлом году, а в нынешнем всё свободное время он проводил в кабинете и читал отцовские книги про путешествия. Правда, читать книги с мелким шрифтом было трудновато, но какие трудности могут помешать ему узнать, чем кончилась экспедиция Георга Седова, или Челюскина, или неистового Магеллана! Он так увлекался книгами, что Надьке приходилось отнимать их во время обеда. А однажды, когда она застучала¹ Алёшу в три утра в постели за чтением увесистого тома

¹ Застучала (застучать) — здесь: застала.

о Колумбе, Надька погасила свет и ничего не сказала, но матери наябедничала, потому что утром, едва проснувшись, Алёша услышал, как мама взволнованно говорила на кухне:

— Прямо не знаю, что с ним делать! Мальчику только девять, а он уже, наверно, больше меня прочитал... Это в его возрасте очень вредно, раннее развитие...

Алёша так и не понял, почему вредно читать интересные книги, но няня, наверно, понимала это хорошо: с этого дня Надька начала ставить все книги в шкаф и запира́ть на ключ.

Но не только книги и карты были в кабинете отца.

В нём находилось и много других необычных вещей. На столе вместо прессы лежит огромная, тяжёлая капля, не то стеклянная, не то каменная. Это кусок лавы с Ключёвской сопки, на которую вместе со студентами поднимался отец. Рядом с куском лавы лежит медный компас: нажмёшь особый рычажок — и лёгкая двухцветная стрелка затанцует под стеклом; а если водить сверху пером, то эта стрелка гоняется за ним, как голодная. А в книжном шкафу одну полку занимают разные высушенные крабы, морские раковины, камни... Под кроватью отца стоят огромные, неуклюжие унты¹ из оленьего меха, привезённые с мыса Дежнева, куда он ездил ещё в студенческие годы...

И вот сейчас Алёша стоял в передней, мокрый, взъерошенный, шмыгая носом, и с бьющимся сердцем слушал какой-то чужой, незнакомый голос матери:

— С твоим здоровьем это говорить? Не на Камчатке ли ты получил хронический насморк?

Алёша вдруг почувствовал, как из носа побежало, и он едва успел вытащить платочек, который мама всегда клала в карман, отправляя его на улицу.

— Лёна... — ответил отец, и по тому, как упрямо прозвучал его голос, Алёша сразу представил морщинку,

¹ Унты — высокие меховые сапоги.

клинышком упёршуюся в переносицу. — Забудем про это... Ничего со мной не случится... Эх, Лёнка-Ленуха, знала бы ты, сколько я мечтал об этой экспедиции! Чуть побольше нашего Лёшки был, а уже мечтал... У каждого, понимаешь ли, человека должна быть в жизни своя мечта, своя Антарктида... А без неё какой же ты человек?.. Что это за материк!

— На мысе Дёжнева заболел воспалением лёгких? Заболел. А ведь в Антарктиде, сам говорил, морозы достигают восьмидесяти градусов... — В голосе матери слышались слёзы: вот-вот заплачет.

Алёша собрал на лбу морщины: о чём это они, собственно, говорят?

— Да пойми же ты: у нас будут особые куртки на гагачьем пуху. Никакой мороз не страшен.

— А плыть... Через всю землю! А штормы и бури? Нет-нет, при твоём...

Алёша насторожился: штормы и бури — это интересно.

— Лёна, ты опять за своё! Корабли у нас мощные... И потом, ну как же ты не хочешь понять: не могу я туда не поехать! Понимаешь — не могу! Лёг я вчера спать — и попал прямо в Антарктиду. Вышел на берег. Вокруг белым-белым. Сверкают айсберги, метёт метель. А я стою на берегу, стою там, где ещё не ступала нога ни одного человека. А кругом снега — сухие, вечные, которые ни разу не таяли... Ведь ещё точно неизвестно, материк это или архипелаг островов, прикрытых ледяным щитом... Есть там среди гор и оазисы, и даже цветы цветут — это в Антарктиде, ты только подумай! И, если найду два цветка, один — в гербарий, а другой — тебе... И есть там ещё озёра, и никто не знает, получились ли они от подземных пожаров каменного угля, или...

Алёша не мог дохнуть от волнения.

— Слушай, Костя... Но ведь это далеко... это так далеко! Оттуда можно не вернуться... А обо мне... обо мне

ты не думаешь... Уходишь в университет — беспокоюсь, а то уехать туда... Наконец, у тебя есть сын, которого ты обязан воспитывать...

— Лёна, да ведь это только на год. Нас сменят. Понимаешь, всего на один год... И при теперешней технике это совсем не опасно...

— И при твоём здоровье?

— Лёна!

— Замолчи!

Алёша был ошеломлён: вот это да! На другой конец земного шара... Какой счастливец отец! А мама тоже хороша... Ну что ей надо? Радовалась бы, плясала, а то на тебе — запрещает отцу поплыть на другой конец земного шара делать открытия!.. Вот, оказывается, что бывает у них дома в то время, когда он отплясывает под дождём или прыгает с помойки — кто дальше...

В передней было так тихо, что сухое потрескивание счётчика возле двери оглушало Алёшу. В носу защекотало, хотелось чихнуть, но мальчик с трудом сдержался и продолжал настороженно слушать.

— Бóже мой, какая я несчастная! — проговорила мама, сморкаясь в платок. — Другие девочки из нашего класса вышли замуж за обыкновенных смертных и счастливы, а я... я...

— Лёна, — сказал отец сурово, — если так, то я должен предупредить тебя: я уже подал заявление ректору университета с просьбой зачислить меня в состав экспедиции, и отступать я не намерен, и ещё...

— И что «ещё»? — Мама перестала плакать.

— И ещё начальнику Главсевморпути...

— Ах, вон оно что! — сказала мать каким-то новым, напряжённым голосом, и Алёша по лёгкому шуршанию халата понял, что она поправляет заколки в тугом узле волос на затылке — так она делала всегда, когда сильно волновалась. — Ты, значит, уже и заявление подал? И со мной не посоветовался?

За дверью застучали каблукі.

Алёша мгновенно юркнул в столовую, чтоб его не застали за подслушиванием. Едва он успел уткнуться в первую попавшуюся книгу — это оказалась «Вкусная пища», — как в комнату вошла мать и, ничего не замечая вокруг, прошла в другую комнату, задёв Алёшино лицо полёй халата. Глаза её смотрели в одну точку, подбородок был чуть приподнят.

Отец ходил по кабинету, и даже мягкий ковёр не мог приглушить его шагов. На скрип двери он не обернулся, но, когда услышал голос сына, удивлённо посмотрел на него.

— Морскую ванну принял? — спросил он.

— Ага! — Алёша улыбнулся: отцу можно сказать всю правду, он поймёт; сам небось не раз вымокал в экспедициях под ливнями.

Отец щурился от яркого света, и его виски с проседью сверкали, как соль. По его лицу, сухощавому и спокойному, с решительными складками у рта, нельзя было и представить, что он минуту назад поссорился с матерью.

— Ты что это кашляешь? — вдруг подозрительно спросил он.

— Я не кашляю, — сказал Алёша и, посопев носом, ещё раз кашлянул.

— А ну поди сюда! — Отец приложил к его лбу большую ладонь и покачал головой. — Ты весь дрожишь... Тебя знобит?

— Я... я... не дрожу, — ответил Алёша, зубами выбивая дробь и мелко сотрясаясь всем телом.

— А ну передевайся, и скорей! — сердито сказал отец.

Алёша очень хотел расспросить об Антарктиде, куда мама не пускала папу и куда он так рвался чуть не с Алёшиного возраста, и ещё хотел сказать отцу, что хоть мама и очень хорошая и красивая, но чтоб в этом вопросе он ни в коем случае не слушался её.

Но Алёша почему-то решил, что сегодня лучше об этом помолчать.

А утром он проснулся с жаром. Мама силой втолкнула под мышку градусник, холодный, как собачий нос, и Надька неусыпно сторожила все десять минут, чтоб хитрый Алёша не стряхнул ртуть. И уж, конечно, температура оказалась повышенной. Мама не разрешила вставать, и завтракал он в постели. Днём пришёл врач, прослушал чёрной трубкой грудь, спину, изрёк: «Грипп», — и ушёл, а мама немедленно погнала Надьку в аптеку за лекарствами.

Чувствовал себя Алёша не так уж плохо, но покорно разрешил сунуть в рот порошок и влить столовую ложку какой-то дрянной — пришлось сморщиться — микстуры.

Всё это были сущие пустяки, на которые не стоило обращать внимания. С той минуты, когда он случайно подслушал спор родителей, его жизнь круто изменилась. Когда отец ушёл на работу и куда-то ушла мама, а Надька возилась на кухне, мальчик слез с кровати, шмыгнул в отцовский кабинет, вытащил из-под шкафа ключик, куда его прятала зловредная Надька, и стал с лихорадочной поспешностью читать всё, что было про Антарктиду. Дизель-электроход скоро должен отплыть, времени оставалось в обрез, а он мало, он так позорно мало знает об этом загадочном материке! Он должен знать о нём всё, решительно всё...

Из энциклопедии выяснилось, что материк занимает четырнадцать миллионов квадратных километров — ого! Что средняя высота его гор — три тысячи метров — тоже ничего! Что возле Антарктиды плавают уйма китов, есть и тюлени, и моржи, и императорские пингвины, но — вот беда! — нет ни одного белого медведя...

Как только в дверь позвонили — должно быть, вернулась мама, — Алёша метнулся в спальню и юркнул в постель. Так продолжалось три дня, пока ему не разрешили вставать. Теперь он почти всё время изучал книги про

Антарктиду. В их доме, однако, что-то изменилось — и это было сразу заметно. Когда Алёша сидел за столом, отец почти не разговаривал с матерью, а всякий раз, когда мальчик приходил со двора, родители сразу умолкали — видно, спор ещё продолжался.

И вот однажды утром мать ушла, как обычно, в спальню в халате и кофровых туфлях, а вышла неузнаваемая — в сером костюме с узкой юбкой и в чёрных лаковых лодочках на очень высоких каблуках. Она сразу стала тонкой и высокой, и Алёша прямо залюбовался ею. От мамы так пахло духами, что в носу у Алёши защекотало. Лицо у неё было очень строгое, чуть припухшее под глазами.

Надев серую шляпку с резинкой у подбородка, мать стала копаться в отцовском шкафу, просматривать и откладывать в сторону какие-то бумажки с круглыми и треугольными печатями. А в одной из них, похожей на обложку тетради, были закреплены кусочки киноленты, только вместо кадров были изображены какие-то волнистые линии.

Гремя стульями и хлопая дверями, мать вернулась на кухню, отдала распоряжения Надьке насчёт обеда, посмотрелась в зеркало и ушла из дому. А Алёша тотчас очутился в отцовском кабинете. Он, как это очень любил делать отец, уселся в глубокое квадратное кресло и, глядя на карту полушарий, погрузился в мечты...

Шумит океан, гонит на жёлтый берег Африки крутые грохочущие волны, свистит ветер, а по океану, сквозь пену и брызги, ломая носом валы, быстро идёт могучий дизель-электроход. На мостике рядом с капитаном стоит в меховой одежде отец, рослый, широкий, прямой, с твёрдыми, бесстрашными глазами. Он смотрит туда, откуда дует ледяной ветер и гонит белые плавающие айсберги, где во мгле и туманах лежит таинственная Антарктида...

Алёша повернулся к карте и, разглядывая в самом низу её белый кружок, изрезанный заливчиками и бухточ-

ками, стал гадать, куда пристанет дизель-электроход и где будет зимовка.

За этим делом и застал его отец:

— Ты что ищешь?

Алёша вздрогнул, точно его застали на месте преступления.

— Да вот ищю, куда он пристанет, — наконец сказал он и покраснел.

— Не туда залез. Вот здесь, в районе Земли Королевы Мэри. Видишь? — Палец отца пополз по зубчатому краю белого пятна и остановился у небольшой бухточки. — А чего это тебя вдруг заинтересовало? — спросил отец, вытаскивая из кармана трубку. — И вообще, причём тут Антарктида?

Алёша покусал губы, моргнул ресницами:

— Там уголь под землёй горит и делаются озёра.

Отец ударил трубкой по ладони и рассмеялся:

— Да это только предположение, так сказать — гипотеза... А вообще это материчок, я тебе скажу! Да... Ты, я вижу, кое-что уже знаешь...

И отец рассказал ему про шельфовые льды¹, которые медленно сползают в океан и превращаются в гигантские айсберги, и про снежные бури, и горные хребты Антарктиды...

Отец говорил долго, увлечённо и так подробно, словно перед ним был не девятилетний сын, а студенческая аудитория, но потом вдруг замолчал, чужими глазами посмотрел на Алёшу и быстро заходил по кабинету, задел ногой за край ковра, сбил его, но поправлять не стал.

— Ну, папка, ну чего ты...

— Хоть бы ты подрос скорее, что ли... А то и поговорить в трёх комнатах не с кем.

Отец тяжело вздохнул.

¹ Шельфовые льды — неподвижные льды, характерные для Антарктиды.

К вѣчеру верну́лась ма́ма. Глаза́ её возбуждённо блестя́, губы улыба́лись. Шля́пка на то́нкой резинке, разреза́вшей подбородо́к, ли́хо сбита́ на́бок. Ма́ма бы́стро сняла́ в передней шля́пку, се́рое габарди́новое пальто́ и, попра́вив у зе́ркала во́лосы, вѣсело влетѣла в столо́вую с большо́й ко́жаной су́мкой.

На стол посы́пались кульки́ с конфѣтами, ва́флями, коробо́чка с вяза́емскими пря́никами — отѣц о́чень любил пить с ни́ми чай. А Алёша получи́л в подаро́к бычка́, бе́лого, с чѣрными пята́ми на лбу. Бычо́к был о́собенный: стоило его́ поста́вить на наклонную дощѣчку, как он, пересту́пая по о́череди все́ми нога́ми, ме́дленно сходил на стол. Говоря́ че́стно, купи́ ему́ ма́ма э́того бычка́ го́да че́тыре наза́д, Алёша визжа́л бы от востор́га, а сейча́с уже́ не то... Но не бу́дешь же ма́му обижа́ть и недово́льно кривить губы́! Алёша заста́вил бычка́ сто́лько раз проде́лать доро́гу по дощѣчке, что отѣц отобрáл его́ и, благоду́шно прихлѣбывая чай с пря́никами, сказа́л, что бычо́к уста́л и ему́ ну́жно дать о́тдых.

Чай они́ пи́ли вѣсело, шу́мно и да́же усади́ли за стол На́дьку, хотя́ она́ и упира́лась — обы́чно она́ пи́ла чай на ку́хне.

Ма́ма носи́лась по ко́мнатам, лёгкая и бы́страя, и уже́ не хло́пала дверя́ми, не греме́ла сту́льями. Все́ в их кварти́ре ста́ло как и ра́ньше, до того́ неприятного спо́ра, — ую́тно, ми́рно, светло́.

Ма́ма переста́ла чита́ть на тахте́ то́лстые кни́ги с жѣлты́ми страни́цами, па́хнушими пы́лью и мышáми, переста́ла, как капита́н с корабѣльного мо́стика, отдава́ть приказáния На́дьке и велá себя́, как рядовой́ матро́с, и ка́к-то раз да́же крути́ла в мясорубке мя́со. Она́ вылетáла во двор за Алёшей, куда́ ма́льчик убегáл провѣтриться, и он уже́ не въезжа́л в подъѣзд на подо́швах санда́лий: он охóтно откликáлся и бежа́л домо́й.

Просто непоня́тно, что ста́ло с ма́мой по́сле того́ вѣчера. Наверно́, она́ все́-таки поняла́, что отца́ ну́жно отпу-

сти́ть в Антаркти́ду. Поняла́, и ей само́й от э́того ста́ло так ра́достно...

Шли дни. Алёша не тра́тил даром вре́мени и де́ятельно гото́вился к экспеди́ции. Он тайко́м от ма́тери нача́л облива́ться в ва́нной холо́дной водо́й. Ежедне́вно обе́ими рука́ми, сопя́ и красне́я, выжимáл пылесос́ и де́сять раз подтя́гивался на дверя́. Он да́же сдружи́лся с дво́ровым псом Ми́шкой, кото́рого ра́ньше боя́лся, — соба́ка могла́ пригодиться́.

Игорь и Серёжка, кото́рые бесче́стно пре́дали его́ в дождь, бо́льше не интересова́ли Алёшу. Какими́ ничто́жными показáлись все их забáвы и проде́лки по сравне́нию с тем о́громным и тайнственным, что надвига́лось на Алёшу!

И вот одна́жды отѣц верну́лся с рабо́ты поздне́е, чем обы́чно. Алёша смотре́л на него́ и не узнава́л. Утром ещё́ шути́л, смея́лся, а тепе́рь ка́к-то срáзу потемне́л, осу́нулся. Глаза́ погáсли, плѣчи чуть-чу́ть ссуту́лились. И ступáл он по коврú ка́к-то приглуше́нно, неуве́ренно, сло́вно был не у себя́ до́ма. Не говоря́ ни сло́ва, он разде́лся и уше́л к себе́ в кабинѣт.

Алёша подоше́л на цы́почках к двѣри кабинѣта и гля́нул в глазо́к замо́чной сква́жины.

Отѣц лежа́л на дивáне, заложив за́ голову больш́ие ру́ки с вспу́хшими вѣнами, смотре́л в потоло́к и, сжима́я в зуба́х тру́бку, курил. Густо́й си́ний дым иногда́ закры́вал лицо́, отѣц не разгоня́л его́, и дым ме́дленно осе́дал на дивáн, на пол. Отѣц смотре́л в одну́ то́чку, заты́гивался, выпуска́л дым...

Алёша осторо́жно толкну́л дверь, воше́л, остано́вился у дивáна:

— Ну что ты, па́па?

— А... э́то ты, Алёша, — сказа́л отѣц, слегка́ отверну́лся от сы́на и стал смотре́ть уже́ не на потоло́к, а на стѣну, обвѣшанную ка́ртами. Лицо́ ка́кбе-то пятни́стое: уж не пла́кал ли? Ще́ки запáли, под глаза́ми си́ние те́ни.

Холодóк смúтной дога́дки пробежа́л по Алёшиной спи-
не. Он стоя́л у дива́на и неподви́жно смотре́л на отца́.

В кабинéте ста́ло как-то тесно, пи́сьменный стол и
шкафи́ увеличились в разме́рах, а стéны и потоло́к сдви-
нулись. За пеленóй ды́ма расплыва́лись корешки́ книг и
ка́рты. Дым начина́л оку́тывать Алёшу. Его́ голова́ слегка́
закружи́лась.

— Не поёдешь? — ти́хо спроси́л он.

— Не поёду...

В кабинéте ста́ло так ти́хо, что еле́ слы́шное металли-
ческое тика́нье ма́леньких часо́в на отцо́вской руке́ вдруг
запо́лнило весь кабинет.

— А твоя́ Антаркти́да?.. Ты ведь так хоте́л...

— Хоте́л, — произне́с отец и руко́й стал разгоня́ть
перед собо́й дым. — Ма́ло ли что челове́к хо́чет...

Оте́ц уста́ло сел, поднёс широ́кую ладо́нь к голове́ сы-
на, чтоб погла́дить его́. Но рука́ так и не косну́лась волос: Алёша отпря́нул в сто́рону, вы́скочил из кабинéта и, за-
дыха́ясь от подступа́ющих слёз, броси́лся на у́лицу. Он
бо́льше не мог остава́ться до́ма. Не хоте́л ви́деть отца́,
не мог прости́ть его́ малоду́шия. Он, Алёша, своёй жи́зни
не пожалéл бы, хоть сейча́с уеха́л бы, то́лько скажи́... Эх,
па́пка!

На у́лице ду́л си́льный ве́тер, нес пы́ль, обры́вки газет,
раска́чивал высо́кие топо́ля и трепáл си́ний матро́сский
воротничо́к ма́льчика, прижа́вшегося лбом к холо́дной
желёзной огра́де. Ду́л ве́тер, и по не́бу медли́тельно и тор-
же́ственно плы́ли облака́, тяжёлые и гру́зные, как айсбер-
ги Антаркти́ды.



ДЕПЕША

Ва́лька сидéл на ко́рточках и из го́рсти сы́пал на зéм-
лю желтовáтое прóсо, а вокрúг него́ тóкали крèпкими но-
са́ми го́луби. Не́которые пти́цы вели́ себя не о́чень ве́ж-
ливо — толка́лись, подпры́гивали, взма́хивали кры́льями.
Ва́лька ши́кал на них. Онí отлетáли в сто́рону, забывáли
оби́ды и, торопли́во переступáя ро́зовыми ла́пками, опя́ть
подбегáли к его́ руке́ и жа́дно клева́ли зёрна.

Когда́ всё прóсо то́нкой стру́йкой вытека́ло из руки́,
Ва́лька лез в карма́н пиджака́ за но́вой го́рстью. Это бы́ло
его́ люби́мое заня́тие. В хоро́шую погоду́ он всегда́ кор-
ми́л своих пти́ц не в тесной голубя́тне, а тут, пря́мо на
дворе́, перед сара́ем. Где-то за тру́бами хлебозаво́да са-
ди́лось в пепельные тóчи со́лнце, в прозра́чном во́здухе
проноси́лись стрижи́, вокрúг воркова́ли и тóкали носáми
го́луби, и на душе́ у Ва́льки бы́ло поко́йно и хоро́шо.

Но не сто́лько ему́ нра́вились пого́жие вечера́ и закат-

ное солнце, сколько завистливые взгляды соседских мальчишек, которые рассматривали птиц, вздыхая и перешептываясь.

Голубей Валька держал с восьмью лет, с тех пор как отец, шофёр грузовой машины, привёз ему с рынка за пазухой пару монахов — белых, с чёрными головками птиц. А сейчас у него пятьдесят семь голубей, и из них куплено не больше десятка. Остальные вывелись в его голубятне или были чужими, сманенными его же стаей. Вот они ходят перед ним, эти прижившиеся и с охотой принявшие новое подданство голуби — жёлтый Митька, сиреневый, с золотистым отливом Звонарь, красная мохноногая голубка Зорька... Одних чужаков Валька держал у себя, и его голубятня становилась для них второй родиной; других, когда перед получкой отца кончались деньги, он продавал на рынке или их старым владельцам.

Однажды к Вальке домой прибежал мокрый от пота толстяк лет сорока, в чесучовом костюме, и стал упрашивать продать недавно пойманного Валькой голубя. Мальчишка в это время обедал. Пока толстяк волновался и вытирал платком шею и лоб, Валька неторопливо доедал второе. Выпив компот и расколотив зубами косточки абрикосов, он молча поднялся с места и повёл возбуждённого голубятника к сараю.

Пойманный чужак держался в сторонке, на крайней жёрдочке, подозрительно присматриваясь к птицам, с которыми ещё не успел как следует познакомиться. Какой это был голубь! Нежно-кофейный, с мягкими переходами в палевые тона, с красиво поставленной головкой на стройной шее, он весь светился в тёплых лучах, падавших из окна, и, казалось, сам излучал неяркий, но удивительно приятный свет.

Толстяк не требовал вернуть голубя, потому что хорошо знал закон голубятников: вошла твоя птица в чужую голубятню — прощайся с ней. Однако толстяк хотел получить своего беглеца подешевле. Он расплывался

перед Валькой в улыбке, щедро подсыпал из кармана его голубям коноплю, шумно хватался за голову, восхищаясь редким подбором его голубей. Но лицо Вальки даже не дрогнуло в улыбке.

— Сынок, — сказал толстяк, — эта голубка мне дороже как память — друг подарил...

— Плохая, если садится куда не следует.

— Боже мой, твой стая не то что одинокого голубя, но и орла сманит!

Но Валька и на этот раз не улыбнулся.

— Сколько дашь? — холодно спросил он.

— Полста. — И, желая показать, что он не собирается надувать, толстяк тут же стал вытаскивать бумажник.

Валька отлично разбирался в ценах на голубей.

— Не пойдёт, — сказал он, — это венская порода.

— Но ведь ты с воздуха поймал его. С воздуха...

— Лови моих — твоими будут, — невозмутимо сказал Валька. — Не запрещаю. Плати полторы и забирай своего заблудёныша, пока он не получил от меня постоянную прописку.

— Боже мой, это грабёж среди бела дня! — закричал толстяк, и его щеки запрыгали, как холодец.

— Беру по таксе, — сдержанно сказал Валька.

Ругаясь, толстяк протянул сто пятьдесят рублей и спрятал за пазуху кофейную голубку...

А в другой раз к Вальке прибежал его школьный приятель Сенька Сыздалец за своей чайкой. Хорошо зная Валькин характер, он не стал просить отдать ему свою чайку, а протянул две десятки. Валька спрятал деньги в карман.

— Вот ключи, иди бери, — сказал он. Валька доверял приятелю, который сидел через парту от него.

Многие голубятники распродавали своих птиц на рынке, ломали голубятни, потому что рядом с ними жил такой опасный сосед, как Валька, от которого нельзя было ждать пощады.

И вот сейчас Валька сидел на корточках, окруженный голубями, и сыпал им зерно, делая вид, что не замечает рядом стоящих мальчишек. Голуби смешно прыгали, чистили клювами перья, распускали веерами хвосты и благодушно ворковали. Валька выпрямился, закурил папироску и посмотрел на небо.

На фоне темно-пепельных туч летел белый голубь. Летел он медленно и неровно, едва махая крыльями, то проваливаясь, то выпрямляясь. Судя по направлению, голубь принадлежал Вовке Семькину. Вовка жил на улице Фрунзе, держал много голубей и был единственным стоящим соперником Вальки.

— Ну, Вовка, прощайся, с белокрылым, — тихо сказал Валька, взмахнул руками и пронзительно свистнул.

Вся его огромная стая с хлопанием и шумом поднялась в небо и взвилась навстречу одинокому почтовому голубю. Началась охота. Лицо у Вальки по-прежнему оставалось спокойным, даже равнодушным, и только узкие губы были сжаты плотней, чем всегда, да на виске упруго билась голубая жилка.

Его стая дала один круг, и на мгновение одинокий голубь смешался с ней. Но Валька не спешил радоваться. Стая забрала влево, а голубь неуклонно и точно, как по расписанию, шел своим курсом — к Вовкиной голубятне.

— У-у-у-у, дьявол! — выругался Валька, ударил каблук в сарай и вложил три пальца в рот.

Стая зашла с другой стороны, и голубь опять потерялся в ней.

Вальке все трудней было сохранять спокойствие: прицепится ли, прилипнет ли на этот раз голубь к его стае или снова, равнодушный и твердый, он навьлет пройдет стаю и благополучно опустится на свою голубятню? Вальке хотелось, Вальке очень хотелось выйти победителем из этого поединка — сколько глаз наблюдает за ним!

Стая повернула назад — и в том месте, где только что находился белый голубь, было пустое небо.

Через несколько минут Валька вынес из голубятни чужака. Был он очень худ, изможден, взъерошен, то и дело закрывал от усталости веки и открывал клюв. Валька чувствовал, как в ладонь ему колотится маленькое голубиное сердце.

— Далекое же ты, видно, летел, — сказал Валька.

Он всегда разговаривал с голубями и был уверен, что они понимают его. Он подул на белую, пышную, гордой посадки шею, провел пальцем по головке:

— Ну что, попался? Устал шибко? Силенок не хватило дотянуть? А ведь уже близко был... А еще называется — почтовый... Эх, ты!

Голубь приоткрыл клюв и снова моргнул веками.

— То-то я и говорю, что попался... Плохо за тобой ходит хозяин: непоеный и некормленный. А ну-ка, на! — И Валька взял из кармана горсть проса и поднес к клюву.

Голубь отвернул головку и стал еще крепче бить сердцем в ладонь.

— Ишь ты, гордый какой! Помру, а у чужих не возьму... Так, что ли?

Жестом профессионального голубятника Валька стал расправлять маховые и хвостовые перья, шею, головку. Его пальцы наткнулись на что-то жесткое. Он быстро повернул голубя головой вниз. К сухой, тонкой ножке два резиновых колечка прижимали аккуратно свернутую бумажку.

— Да ты, оказывается, с почтой! — воскликнул Валька, вытащив из колечек бумажную трубочку.

Держа птицу в одной руке, он другой рукой положил трубочку на колено и раскатал ее. «Мама! — было написано на прозрачном листке. — Наша экспедиция прибыла в Сосновск. Все здоровы. До скорой встречи! Вова».

— Сосновск? — спросил сам себя Валька и еще раз прочитал депешу. — Так ведь до Сосновска пятьсот километров... Слушай, голубь, это правда, что ты летел от Сосновска?

Гóлубь ничегó не отвéтил. Но егó изморённый вид, егó жёсткое щúплое тельце говорíли сáми за себя.

Вáлька посмотрéл на недостаю́щие пёрышки — уж не с со́колом ли дрáлся? — на грязновáтый хвост и стал мéдленно сворáчивать на колéне депéшу. От ворóт к нему́ бежáл Сёнька Сúздальцев и чтó-то кричáл. Вáлька осторóжно подсúнул депéшу под резíновые колéчки и поднёс клюв гóлубя к губáм. Потóм тóчным движéнием рук плáвно подбрóсил гóлубя.

Гóлубь свечóй взмыл в нéбо и стремíтельно пошёл прёрванным кúрсом к своéй голубя́тне, тóчно никакóй задёрки в полёте и нé было. Он успéл немно́го отдохнúть в руках Вáльки и летéл увéренно и бýстро. Запрокíнув гóлову, Вáлька провожáл егó глазáми до тех пор, покá он не скры́лся за кры́шей.

В ёто врéмя к нему́ подбежáл Сёнька.

— Чужакá вы́пустил? — заорáл он.

— Чужакá, — отвéтил Вáлька.

— Ты... вы́пустил... чужакá? — раздёльно, дéлая пáузу пóсле кáждого слóва, переспросíл Сёнька.

— Агá.

— А моего́... моего́ мне прóдал... А ещё друг назывáется!

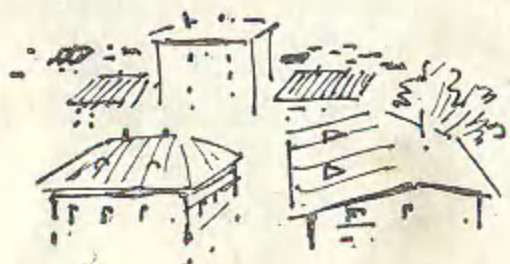
— Такóго не продаю́т.

— Что, бóльно дóхлый был? И трёшку бы не дáли?

— На ты́сячу рублéй была́ птíца, — отвéтил Вáлька, вздохну́л, махну́л руко́й и пошёл к дóму.

И, ужé всходя́ на крыльцо́, добáвил:

— Цены́ нé было птíце...



СОДЕРЖАНИЕ

Брат. <i>Рис. В. Трубка́вича</i>	5
Земля́, где ты живёшь. <i>Рис. И. Ильи́нского</i>	23
Бéлые буруны́. <i>Рис. В. Трубка́вича</i>	46
Дед Лаврéнтий. <i>Рис. И. Ильи́нского</i>	56
Берберийский лев. <i>Рис. В. Трубка́вича</i>	65
Твоя́ Антаркти́да. <i>Рис. В. Трубка́вича</i>	72
Депéша. <i>Рис. В. Трубка́вича</i>	89

ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

*Мошковский
Анатолий Иванович*

БЕЛЫЕ БУРУНЫ

Рассказы

Ответственный редактор *А. В. Ясиновская*
Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*
Технический редактор *В. К. Егорова*
Корректора
В. К. Мирингоф и В. В. Самороднова

Сдано в набор 14/XII 1960 г. Подписано к печати
7/II 1961 г. Формат 84 × 108¹/₃₂ — 3 печ. л. = 5,04
усл. печ. л. (4,21 уч.-изд. л.). Тираж 30 000 экз.

Цена 23 коп.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза.
Москва, Суцевский вал, 49. Заказ № 4641.

Цена 23 коп.